

И.С. ТУРГЕНЕВ

Затишье

Затишье

Иван Сергеевич Тургенев

Аннотация
Иван Сергеевич Тургенев. Затишье
I
II
III
IV
V
VI
VII
О повести «Затишье»

Аннотация

Начав свою литературную деятельность как писатель «натуральной школы», Тургенев и в повести «Затишье» продолжал борьбу с ложным романтизмом, воспитывая у читателей способность видеть истинно прекрасное в реальной действительности, окружающей их. Именно поэтому повесть Тургенева вызвала сопротивление у поклонников и поклонниц «возвышенной» литературы. Многоплановая композиция повести, позволившая проследить судьбы героев из разных слоев русского общества, переплетение лирико-психологической и иронической манеры повествования — всё это создавало художественные предпосылки для появления тургеневских романов.

Иван Сергеевич Тургенев
Затишье

I

В довольно большой, недавно выбеленной комнате господского флигеля, в деревне Сасове, — го уезда, Т… губернии, сидел за старым покоробленным столиком, на деревянном узком стуле молодой человек в пальто и рассматривал счеты. Две стеариновые свечки, в дорожных серебряных шандалах, горели перед ним; в одном углу на лавке стоял открытый погребец, в другом — слуга устанавливал железную кровать. За низкой перегородкой ворчал и шипел самовар; собака ворочалась на только что принесенном сене. В дверях стоял мужик в новом армяке, подпоясанный красным кушаком, с большой бородой и умным лицом, по всем признакам староста; он внимательно глядел на сидевшего молодого человека. У одной стены стояло очень ветхое крошечное фортепьяно, возле столь же древнего комода с дырами вместо замков; между окнами виднелось темное зеркальце; на перегородке висел старый, почти весь облупившийся портрет

напудренной женщины в роброне{1} и с черной ленточкой на тонкой шее. Судя по заметной кривизне потолка и покатости щелистого пола, флигелек, в который мы ввели читателя, существовал давным-давно; в нем никто постоянно не жил, он служил для господского приезда. Молодой человек, сидевший за столом, был именно владелец деревни Сасовой. Он только накануне прибыл из главного своего имения, отстоящего верст за сто оттуда, и на другой же день собирался уехать, окончивши осмотр хозяйства, выслушавши требования крестьян и поверив все бумаги.

— Ну, однако, довольно, — промолвил он, приподняв голову, — устал. Ты теперь можешь идти, — прибавил он, обращаясь к старосте, — а завтра приходи пораньше, да с утра повести мужиков, чтобы на сходку явились, слышишь?

— Слушаю.

— Да земскому вели мне ведомость за последний месяц представить. Однако ты хорошо сделал, — продолжал барин, оглянувшись, — что стены выбелил. Всё как будто чище.

Староста молча тоже оглянул стены.

— Ну, теперь ступай.

{1} Комментарии: 2.1

…в роброне… — Старинное женское платье с широкой юбкой на каркасе в виде обруча.

Староста поклонился и вышел.

Барин потянулся.

— Эй! — крикнул он. — Дайте мне чаю… Пора спать.

Слуга отправился за перегородку и скоро вернулся с стаканом чаю, связкой городских котёлок{2} и сливочником на железном подносе. Барин принялся пить чай, но не успел он отхлебнуть двух глотков, как в соседней комнате послышался стук вошедших людей и чей-то пискливый голос спросил:

— Владимир Сергеич Астахов дома? Можно их видеть?

Владимир Сергеич (так именно звали молодого человека в пальто) с недоумением посмотрел на своего человека и торопливым шёпотом проговорил:

— Поди узнай, кто это?

Человек вышел и прихлопнул за собой плохо затворявшуюся дверь.

— Доложи Владимиру Сергеичу, — раздался тот же пискливый голос, — что сосед их Ипатов желает их видеть, буде не обеспокоит; да со мной еще приехал другой сосед, Бодряков, Иван Ильич, толе

{2} Комментарии: 2.2

…городских котёлок… — Тульское название кренделей, сваренных в котле.

желают почтение свое засвидетельствовать.

Невольное движение досады вырвалось у Владимира Сергеича. Однако, когда слуга его вошел в комнату, он сказал ему:

— Проси.

И он встал в ожидании гостей.

Дверь отворилась, и появились гости. Один из них, плотный седой старичок, с круглой головкой и светлыми глазками, шел впереди; другой, высокий, худощавый мужчина лет тридцати пяти, с длинным смуглым лицом и беспорядочными волосами, выступал, переваливаясь, сзади. На старичке был опрятный серый сюртук с большими перламутровыми пуговицами; розовый галстучек, до половины скрытый отложным воротничком белой рубашки, свободно обхватывал его шею; на ногах у него красовались штиблеты, приятно пестрели клетки его шотландских панталон, и вообще он весь производил впечатление приятное. Его товарищ, напротив, возбуждал в зрителе чувство менее выгодное; на нем был черный старый фрак, застегнутый наглухо; штаны его, из толстого зимнего трико, подходили под цвет его фрака; ни около шеи, ни у кистей рук не виднелось белья. Старичок первый приблизился к Владимиру Сергеичу и, любезно поклонившись,

заговорил тем же тоненьким голоском:

— Честь имею рекомендоваться — ближайший ваш сосед и даже родственник, Ипатов, Михайло Николаич. Давно желал иметь удовольствие с вами познакомиться. Надеюсь, что не обеспокоил.

Владимир Сергеич ответил, что он очень рад и сам желал… и что беспокойства никакого нет и не угодно ли сесть… чаю выкушать.

— А этот дворянин, — продолжал старичок, выслушав с приветной улыбкой недомолвленные речи Владимира Сергеича и протянув руку в направлении господина во фраке, — тоже ваш сосед… и мой хороший знакомый, Бодряков, Иван Ильич, сильно желал с вами познакомиться.

Господин во фраке, по лицу которого никто бы не предположил, чтобы он чего-нибудь мог сильно пожелать в своей жизни — до того рассеянно и в то же время сонливо было выражение этого лица, — господин во фраке поклонился неловко и вяло. Владимир Сергеич поклонился ему в ответ и вторично попросил гостей присесть.

Гости сели.

— Очень рад, — начал старичок, приятно расставив руки, между тем как его товарищ принялся, слегка раскрыв рот, оглядывать потолок, — очень рад, что имею, наконец, честь видеть

вас лично. Хотя вы постоянным жительством вашим и обретаетесь в довольно отдаленном от здешних мест уезде, однако мы считаем вас тоже своим, коренным, так сказать, владельцем.

— Мне это очень лестно, — возразил Владимир Сергеич.

— Лестно ли, нет ли, а оно так. Вы, Владимир Сергеич, извините, мы здесь, в — ом уезде, народ прямой, по простоте живем: говорим, что думаем, без обиняков. У нас даже, скажу вам, на именины друг к другу ездят не иначе, как в сюртуках. Право! Так уж у нас заведено. В соседних уездах нас за это сюртучниками называют и даже упрекают якобы в дурном тоне, но мы на это и внимания не обращаем! Помилуйте, в деревне жить — да еще чиниться?

— Конечно, что может быть лучше…. в деревне… этой натуральности в обращении, — заметил Владимир Сергеич.

— А между тем, — возразил старичок, — и у нас в уезде живут люди, можно сказать, умнейшие, европейски образованные люди, хоть и фраков не носят. Вот хоть бы, например, историк наш, Евсюков, Степан Степаныч: он российской историей с самых древнейших времен занимается и в Петербурге известен, ученейший человек! В

городе нашем старинное шведское ядро, знаете… там оно среди площади поставлено… ведь это он его открыл. Как же! Центелер, Антон Карлыч… тот естественную историю изучил: впрочем, говорят, эта наука всем немцам далась. Когда у нас, лет десять тому назад, забежавшую гиену убили, так ведь это Антон Карлыч открыл, что она действительно была гиена, по причине особенного устройства ее хвоста. Вот еще Кабурдин есть у нас, помещик; тот больше легкие статейки пишет; очень бойкое у него перо, в «Галатее»{3} есть его статейки. Бодряков… не Иван Ильич, нет, Иван Ильич этим неглижирует, а другой Бодряков, Сергей… как бишь его по батюшке-то, Иван Ильич… как бишь?

— Сергеич, — подхватил Иван Ильич.

— Да, Сергей Сергеич, — тот стихами занимается. Ну, конечно, не Пушкин, а иногда так отбреет, что хоть бы в столице. Вы его эпиграмму на Агея Фомича знаете?

— На какого Агея Фомича?

{3} Комментарии: 2.3

…в «Галатее»… — Еженедельный журнал литературы, новостей и мод, издававшийся в Москве в 1829–1830 гг. С. Е. Раичем, преподавателем русской словесности Московского университетского пансиона. В журнале принимали участие Пушкин, Вяземский, Баратынский, Тютчев, Шевырев и др. В 1839 г. Раич возобновил журнал под названием «Галатея, журнал наук, искусств, литературы, новостей и мод». В этом виде «Галатея» просуществовала еще один год.

— Ах, извините; я всё забываю, что вы все-таки не здешний житель. На нашего исправника. Очень смешная вышла эпиграмма. Иван Ильич, ты, кажется, ее помнишь?

— Агей Фомич, — равнодушно заговорил Бодряков, —

…недаром славно

Дворянским выбором почтен…

— Надо вам сказать, — перебил Ипатов, — что его выбрали почти что одними белыми шарами, ибо человек он наидостойнейший.

— Агей Фомич, — повторил Бодряков, —

…недаром славно

Дворянским выбором почтен:

Он пьет и кушает исправно…

Так как же не исправник он?

Старичок засмеялся.

— Хе-хе-хе! А ведь недурно? С тех пор, поверите ли вы, всякий из нас скажет, например, Агею Фомичу: здравствуйте — и уж непременно прибавит: «Так как же не исправник он?» И Агей Фомич, вы думаете, сердится? Нисколько. Нет — у нас этого и в заведении нет. Вот спросите хоть Ивана Ильича.

Иван Ильич только глазами повел.

— Сердиться за шутку, как это можно! Вот хоть бы Иван Ильич, его у нас прозывают Складная Душа, потому что он весьма скоро на всё соглашается. Что ж? Разве Иван Ильич за это обижается? Никогда!

Иван Ильич посмотрел, медленно мигая, сперва на старичка, потом на Владимира Сергеича.

Название «Складная Душа», действительно, очень шло к Ивану Ильичу. В нем и следа не было того, что называется волей или характером. Всякий, кто только хотел, мог увести его с собой куда угодно; стоило только сказать ему: Иван Ильич, поедемте, — он брал шапку и ехал; а подвернись тут другой и скажи ему: Иван Ильич, останьтесь, — он клал шапку и оставался. Нрава он был миролюбивого и тихого, весь свой век прожил холостяком, в карты не играл, но любил сидеть возле играющих и глядеть им по очереди в лица. Без общества он жить не мог и уединения не переносил; он тогда впадал в уныние; впрочем, это с ним случалось очень редко. За ним водилась еще одна особенность: встав рано поутру с постели, он вполголоса напевал старинный романс:

В деревне некогда барон

Вследствие этой особенности Ивана Ильича его прозывали также щуром; известно, что щур в клетке поет только раз в течение дня, рано поутру. Таков был Иван Ильич Бодряков.

Разговор между Ипатовым и Владимиром Сергеичем продолжался довольно долго, но уже не в прежнем, так сказать, умозрительном направлении. Старичок расспрашивал Владимира Сергеича об его имении, о состоянии его лесных и других дач, об усовершенствованиях, которые он уже ввел или только намеревался ввести в своем хозяйстве; сообщил ему несколько своих собственных наблюдений, посоветовал, между прочим, для истребления луговых кочек обсыпать их кругом овсом, что будто бы побуждает свиней срывать их своими носами, и т. п. Наконец, однако, заметив, что у Владимира Сергеича слипались глаза и в самых словах проявлялась некоторая медлительность и бессвязность, старичок встал и, любезно поклонившись, объявил, что он не намерен более стеснять своим присутствием, но что надеется иметь удовольствие видеть у себя дорогого гостя не позже завтрашнего дня к обеду.

— А в мою деревню, — прибавил он, — не го-

ворю уже малое дитя, первая встречная, смею сказать, курица или баба вам дорогу укажет, стоит только спросить Ипатовку. Лошади сами добегут.

Владимир Сергеич отвечал с небольшой, впрочем свойственной ему запинкой, что постарается… что если ничего не воспрепятствует…

— Нет, уж мы вас будем ждать наверное, — перебил его ласково старичок, крепко пожал ему руку и проворно вышел, воскликнув у двери в полуоборот, — без церемонии!

Складная Душа Бодряков поклонился молча и исчез вслед за своим товарищем, предварительно споткнувшись на пороге.

Проводив нежданных гостей, Владимир Сергеич тотчас разделся, лег в постель и заснул.

Владимир Сергеич Астахов принадлежал к числу людей, которые, осторожно попытавши свои силы на двух-трех различных поприщах, сами говорят о себе, что решились, наконец, взглянуть на жизнь с практической точки зрения и посвящают досуг умножению своих доходов. Он был не глуп, довольно скуп и очень рассудителен, любил чтение, общество, музыку, но всё в меру… и держал себя очень прилично. Ему было всего двадцать семь лет. Подобных ему молодых лю-

дей развелось в последнее время много. Он был среднего роста, хорошо сложен, черты лица имел приятные, но мелкие: выражение их почти никогда не менялось, глаза его глядели всегда одним и тем же сухим и светлым взором; лишь изредка смягчался он легким оттенком не то грусти, не то скуки; учтивая улыбка почти не покидала его губ. Волосы у него были прекрасные, белокурые, шелковистые и в длинных завитках. За Владимиром Сергеичем считалось около шестисот душ хорошего имения, и он думал о браке, браке по наклонности, но в то же время выгодном. Особенно хотелось ему сыскать жену со связями. Он находил, что у него недостаточно было связей. Словом, он заслуживал вошедшее недавно в моду название джентльмена.{4}

Вставши на другое утро, по обыкновению, очень рано, джентльмен наш занялся делами, и, должно отдать ему справедливость, занялся ими довольно дельно, что не всегда можно сказать про молодых практических людей у нас на Руси. Он терпеливо выслушал сбивчивые просьбы и

{4} Комментарии: 2.4

…он заслуживал вошедшее недавно в моду название джентльмена. — Слово «джентльмен» утвердилось в русском языке в начале 1840-х годов для обозначения человека благовоспитанного, порядочного (см. Лексикологические заметки к текстам Тургенева: 23. Джентльмен. М. А. — *Т сб,* вып. 5, с. 343–344).

жалобы мужиков, удовлетворил их насколько мог, разобрал возникшие споры и несогласия между родными, одних усовестил, на других прикрикнул, проверил отчет земского, вывел на свежую воду две-три плутни старосты, словом — распорядился так, что и сам остался собою доволен и крестьяне, возвращаясь со сходки ко дворам, отзывались о нем хорошо. Несмотря на слово, данное накануне Ипатову, Владимир Сергеич решился было обедать дома и даже заказал своему походному повару любимый рисовый суп с потрохами, но вдруг, быть может вследствие чувства довольства, наполнившего его душу с утра, остановился посреди комнаты, ударил себя рукою по лбу и не без некоторой удали громко воскликнул: «А поеду-ка я к этому старому краснобаю!» Сказано — сделано; чрез полчаса он уже сидел в своем новеньком тарантасе, запряженном четвернею добрых крестьянских лошадей, и ехал в Ипатовку, до которой считалось не более двенадцати верст отличной дороги.

II

Усадьба Михаила Николаевича Ипатова состояла из двух отдельных господских домиков, построенных друг против друга по обеим сторонам огромного проточного пруда. Длинная плотина, обсаженная серебристыми тополями, замыкала этот пруд; почти в уровень с ней виднелась красная крыша небольшой мельницы-колотовки. Построенные одинаково, выкрашенные одной лиловой краской, домики, казалось, переглядывались через широкую водную гладь блестящими стеклами своих маленьких чистых окон. Посредине каждого из домиков выдавалась круглая терраса и возвышался острый фронтон, подпертый четырьмя тесно поставленными белыми колоннами. Вокруг всего пруда шел старинный сад: липы тянулись по нем аллеями, стояли сплошными купами; заматерелые сосны с бледно-желтыми стволами, темные дубы, великолепные ясени высоко поднимали там и сям свои одинокие верхушки; густая зелень разросшихся сиреней и акаций подступала вплоть до самых боков обоих домиков, оставляя открытыми одни

их передние стороны, от которых бежали вниз по скатам извилистые, убитые кирпичом дорожки. Пестрые утки, белые и серые гуси плавали отдельными станицами по светлой воде пруда: он никогда не зацветал благодаря обильным ключам, бившим в его «голове» со дна крутого и каменистого оврага. Местоположение усадьбы было хорошо: приветливо, уединенно и красиво.

В одном из двух маленьких домиков жил сам Михаил Николаевич; в другом жила его мать, дряхлая старуха лет семидесяти. Взъехавши на плотину, Владимир Сергеич не знал, к какому дому направиться. Он оглянулся — дворовый мальчик удил рыбу, стоя босиком на полусгнившей коряге. Владимир Сергеич окликнул его.

— Да вам к кому, к старой барыне аль к барчуку? — возразил мальчик, не сводя глаз с поплавка.

— К какой барыне? — ответил Владимир Сергеич. — Я к Михаилу Николаичу.

— А! К барчуку? Ну так ступайте направо.

И мальчик дернул удочкой и вытащил из неподвижной воды небольшого серебристого карася. Владимир Сергеич отправился направо.

Михаил Николаич играл в шашки со Складной Душою, когда ему доложили о приезде Владимира

Сергеича. Он очень обрадовался, вскочил с кресел, выбежал в переднюю и в передней трижды с ним облобызался.

— Вы меня застаете с моим неизменным приятелем, Владимир Сергеич, — заговорил словоохотливый старичок, — с Иваном Ильичом, который, скажу мимоходом, совершенно очарован вашей обходительностью. (Иван Ильич молча глянул в угол.) Он был так добр, остался со мной в шашки играть, а мои все пошли в сад гулять, но я сейчас за ними пошлю…

— Да зачем же беспокоить… — начал было Владимир Сергеич.

— Какое беспокойство, помилосердуйте. Эй, Ванька, сбегай за барышнями скорей… скажи, гость, мол, пожаловал. А каково вам здешняя местность нравится, ведь недурна, не правда ли? Кабурдин стихи на нее сочинил. «Ипатовка, приют любезный», так начинается, — дальше тоже хорошо, только не всё помню. Сад велик, вот беда, не по средствам. А эти два дома, столь между собой схожие, как вы изволили, может быть, заметить, были построены двумя братьями, отцом моим Николаем и дядей Сергеем; они же и сад развели, друзья были примерные… Дамон и… вот тебе на! Забыл, как другого звали…

— Пифион,{5} — заметил Иван Ильич.

— Полно, так ли? Ну всё равно. (Дома старик говорил гораздо развязнее, чем в гостях.) Вам, Владимир Сергеич, вероятно, небезызвестно, что я вдовец, лишился жены; старшие детки в казенных заведениях, а со мной только две меньшеньких, да свояченица живет, женина сестра, вот вы ее сейчас увидите. Да что ж это я вас ничем не потчую. Иван Ильич, распорядись, братец, насчет закуски… Какую вы водку предпочитать изволите?

— Я до обеда ничего не пью.

— Помилуйте, как это можно! А впрочем, как вам будет угодно. Гостю воля, гостю честь. Ведь здесь у нас по простоте. Здесь у нас, осмелюсь так выразиться, не то чтобы захолустье, а затишье, право, затишье, уединенный уголок — вот что! Но что же вы не сядете?

Владимир Сергеич сел, не выпуская из рук шляпы.

— Позвольте вас облегчить, — проговорил Ипа-

{5} Комментарии: 2.5

…Дамон и ~ Пифион… — Пифагорейцы, жители Сиракуз, прославившиеся своей преданной дружбой. Имя друга Дамона в произведениях мировой и русской литературы неустойчиво: его называют Финтий, Финтиас, Пинтиас и т. д. Именно поэтому Ипатов усомнился в правильности подсказанного ему Иваном Ильичом имени Пифион. (Об этом см.: Алексеев М. П. «Затишье». Дамон и Пифион. — *Т сб,* вып. 1, с. 237–238.)

тов и, деликатно отняв у него шляпу, отнес ее в угол, потом возвратился, с ласковой улыбкой посмотрел гостю в глаза и, не зная, что бы такое сказать ему приятное, спросил его самым радушным образом, любит ли он играть в шашки?

— Я плохо играю во все игры, — ответил Владимир Сергеич.

— И это с вашей стороны прекрасно, — возразил Ипатов, — но шашки это не игра, а скорее забава, препровождение праздного времени; не так ли, Иван Ильич?

Иван Ильич взглянул на Ипатова равнодушным взглядом, словно думая про себя: «А чёрт их знает — игра ли она или забава», но погодя немного он промолвил:

— Да; шашки — ничего.

— Вот, говорят, шахматы другое дело, — продолжал Ипатов, — говорят, это игра претрудная. Но по-моему… а, да вот и мои идут! — перебил он сам себя, взглянув в полурастворенную стеклянную дверь, выходившую в сад.

Владимир Сергеич встал, обернулся и увидал сперва двух девочек лет около десяти, в розовых ситцевых платьицах и больших шляпах, проворно взбегавших по ступеням террасы; вскоре за ними появилась девушка лет двадцати, высокого

роста, полная и стройная, в темном платье. Все они вошли в комнату, девочки чинно присели перед гостем.

— Вот-с, рекомендую, — проговорил хозяин, — мои дочки-с. Эту вот Катей зовут-с, а эту Настей, а эта вот моя свояченица, Марья Павловна, о которой я уже имел удовольствие вам говорить. Прошу любить да жаловать.

Владимир Сергеич поклонился Марье Павловне; она ответила ему едва заметным наклонением головы.

Марья Павловна держала в руке большой раскрытый нож; ее густые русые волосы слегка растрепались, небольшой зеленый листок запутался в них, коса выбилась из-под гребня, смуглое лицо зарумянилось, и красные губы раскрылись: платье казалось измятым. Она дышала быстро; глаза ее блестели; видно было, что она работала в саду. Она тотчас же вышла из комнаты, девочки побежали за ней.

— Туалет-с немножко в порядок привести, — заметил старик, обращаясь к Владимиру Сергеичу, — без этого нельзя-с.

Владимир Сергеич осклабился ему в ответ и слегка задумался. Марья Павловна его поразила. Давно не видывал он такой прямо русской,

степной красоты. Она скоро вернулась, села на диван и осталась неподвижной. Волосы свои она убрала, но платья не переменила, не надела даже манжеток. Черты ее лица выражали не то чтобы гордость, а суровость, почти грубость; лоб ее был широк и низок, нос короток и прям; ленивая и медленная усмешка изредка кривила ее губы; презрительно хмурились ее прямые брови. Она почти постоянно держала свои большие темные глаза опущенными. «Я знаю, — казалось, говорило ее неприветное молодое лицо, — я знаю, что вы все на меня смотрите, ну смотрите, надоели!» Когда же она поднимала свои глаза, в них было что-то дикое, красивое и тупое, напоминавшее взор лани. Сложена она была великолепно. Классический поэт сравнил бы ее с Церерой или Юноной.{6}

— Что вы делали в саду? — спросил ее Ипатов, желавший вовлечь ее в разговор.

— Сухие сучья резали и копали гряды, — отвечала она голосом несколько низким, но приятным и звучным.

{6} Комментарии: 2.6

…сравнил бы ее с Церерой или Юноной. — Церера — римская богиня плодородия; Юнона — римская богиня, покровительница женщин и семейного очага. Сравнивая Машу с этими богинями, Тургенев подчеркивал здоровую красоту и величественность ее облика.

— И что ж, вы устали?

— Дети устали; я нет.

— Я знаю, — возразил с улыбкой старик, — ты у меня настоящая Бобелина![7] А у бабушки были?

— Были; она почивает.

— Вы любите цветы? — спросил ее Владимир Сергеич.

— Люблю.

— Отчего ты шляпы не надеваешь, когда выходишь? — заметил ей Ипатов, — посмотри, как ты раскраснелась и загорела.

Она молча провела рукой по лицу. Руки у ней были невелики, но немного широки и довольно красны. Она не носила перчаток.

— И садоводство вы любите? — опять спросил ее Владимир Сергеич.

— Да.

Владимир Сергеич принялся рассказывать, какой у него в соседстве прекрасный сад у богатого помещика Н*.

— Главный садовник, немец, одного жалованья получает две тысячи рублей серебром, — сказал он между прочим.

— А как зовут этого садовника? — спросил вдруг

{7} Комментарии: 2.7

Бобелина — гречанка, видная деятельница в войне против турецкого ига за независимость Греции. Убита в 1828 г.

Иван Ильич.

— Не помню, кажется Мейер или Миллер. А вам на что?

— Так-с, — ответил Иван Ильич. — Фамилию узнать.

Владимир Сергеич продолжал свой рассказ. Девочки, дочери Михаила Николаича, вошли, тихонько сели и тихонько стали слушать…

Слуга показался в дверях и доложил, что Егор Капитоныч приехал.

— А! Проси, проси! — воскликнул Ипатов.

Вошел старичок низенький и толстенький, из породы людей, называемых коротышками или карандашами, с пухлым и в то же время сморщенным личиком вроде печеного яблока. На нем была серая венгерка с черными шнурками и стоячим воротником; его широкие плисовые шаровары, кофейного цвета, оканчивались далеко выше щиколок.

— Здравствуйте, почтеннейший Егор Капитоныч. — воскликнул Ипатов, идя ему навстречу, — давненько мы с вами не видались.

— Да что, — возразил Егор Капитоныч картавым и плаксивым голосом, раскланявшись предварительно со всеми присутствовавшими, — ведь вы знаете, Михаил Николаич, свободный

ли я человек?

— А чем же вы не свободный человек, Егор Капитоныч?

— Да как же, Михаил Николаич, семейство, дела… А тут еще Матрена Марковна.

И он махнул рукой.

— А что ж Матрена Марковна?

И Ипатов слегка подмигнул Владимиру Сергеичу, как бы желая заранее возбудить его внимание.

— Да, известно, — возразил Егор Капитоныч, садясь, — всё мною недовольна, будто вы не знаете? Что я ни скажу, всё не так, не деликатно, не прилично. А почему не прилично, господь бог знает. И барышни, дочери мои то есть, туда же, с матери пример берут. Я не говорю, Матрена Марковна прекраснейшая женщина, да уж очень строга насчет манер.

— Да чем же ваши манеры дурны, Егор Капитоныч, помилуйте?

— Я и сам то же думаю, да, видно, ей угодить мудрено. Вчера, например, говорю я за столом: Матрена Марковна (и Егор Капитоныч придал голосу своему самое вкрадчивое выражение), Матрена Марковна, говорю я, что это, как Алдошка лошадей не бережет, ездить не умеет,

говорю; вороного-то жеребца совсем закачало. И-их, Матрена Марковна как вспыхнет, как примется стыдить меня: выражаться ты, дескать, прилично не умеешь в дамском обществе; барышни тотчас из-за стола повскакали, а на другой день бирюлевским барышням, жениным племянницам, уже всё известно. А чем я дурно выразился? Посудите сами. И что бы я ни сказал, иногда неосторожно, точно, — с кем этого не бывает, особенно дома, — бирюлевским барышням на другой день уже всё известно. Просто не знаешь, как быть. Иногда сижу я этак, думаю с своей манерой, — я, вы, может, знаете, дышу тяжело, — Матрена Марковна опять меня стыдить примется: не сопи, говорит, кто нынче сопит! Что ты бранишься, говорю я, Матрена Марковна, помилуй, надо соболезновать, а ты бранишься. Уж я теперь дома больше не думаю. Сижу и на низ всё так гляжу. Ей-богу. А то еще, на днях, спать мы ложились: Матрена Марковна, говорю я, что ты это, матушка, своего казачка как избаловала, ведь он, говорю, поросенок этакой, хоть бы в воскресенье лицо-то вымыл. Что ж? Ведь, кажется, далеко, нежно сказал, а и тут не потрафил, опять начала меня Матрена Марковна стыдить: не умеешь, говорит, в дамском обществе держать себя,

а на другой день бирюлевским барышням всё известно. Где уж тут о выездах думать, Михаил Николаич?

— Это для меня удивительно, что вы говорить изволите. — возразил Ипатов, — я этого не ожидал от Матрены Марковны; кажется, она…

— Прекраснейшая женщина, — подхватил Егор Капитоныч, — примерная, можно сказать, супруга и мать, насчет манер только строга. Говорит, во всем нужен ансамбль, и будто у меня его нет. Я по-французски, вы знаете, не говорю, так только понимаю. Но какой же это ансамбль, которого у меня нет!

Ипатов, который сам не больно был силен во французском языке, только плечами пожал.

— А что ваши детки, сыновья то есть? — спросил он Егора Капитоныча немного погодя.

Егор Капитоныч посмотрел на него сбоку.

— Что сыновья, ничего. Я ими доволен. Барышни, те от рук отбились, а сыновьями я доволен. Леля служит хорошо, начальство его одобряет; Леля у меня ловкий ребенок. Ну Михец — тот не так: филантроп какой-то вышел.

— Отчего филантроп?

— Господь его знает, ни с кем не говорит, дичится. Матрена Марковна его больше конфузит.

Что, говорит, с отца пример берешь-то? Ты его уважай, а в манерах подражай матери. Выравняется, пойдет и он.

Владимир Сергеич попросил Ипатова познакомить его с Егором Капитонычем. Между ними завязался разговор, Марья Павловна не принимала в нем участия; к ней подсел Иван Ильич, да и тот сказал ей всего слова два; девочки подошли к нему и начали что-то шёпотом рассказывать… Вошла ключница, худая старуха, повязанная темным платком, и объявила, что обед готов. Все отправились в столовую.

Обед продолжался довольно долго. Ипатов хорошего держал повара, и вина он выписывал недурные, хотя не из Москвы, а из губернского города. Ипатов жил, как говорится, в свое удовольствие. Душ за ним числилось не более трехсот, но он никому не был должен и именье привел в порядок. За столом разговаривал больше сам хозяин; Егор Капитоныч ему вторил, но в то же время не забывал себя: кушал и пил на славу. Марья Павловна всё молчала, лишь изредка отвечая полуулыбками на торопливые речи двух девочек, сидевших по обоим ее бокам; они, по-видимому, очень ее любили; Владимир Сергеич пытался несколько раз заговорить с нею,

однако без особенного успеха. Складная Душа Бодряков даже ел лениво и вяло. После обеда все пошли на террасу пить кофе. Погода была прекрасная; из сада несло сладким запахом лип, стоявших тогда в полном цвету; летний воздух, слегка охлажденный густою тенью деревьев и влажностью близкого пруда, дышал какой-то ласковой теплотой. Вдруг из-за тополей плотины примчался конский топот, и спустя мгновенье показалась всадница в длинной амазонке и круглой серой шляпе, на гнедой лошади; она ехала галопом, казачок скакал сзади ее на небольшом белом клеппере.{8}

— А! — воскликнул Ипатов, — Надежда Алексеевна едет — вот приятный сюрприз.

— Одна? — спросила Марья Павловна, стоявшая до того мгновенья неподвижно у дверей.

— Одна… видно, Петра Алексеича что-нибудь задержало.

Марья Павловна глянула исподлобья, краска разлилась по ее лицу, она отворотилась.

Между тем всадница въехала через калитку в сад, подскакала к террасе и легко спрыгнула на землю, не дождавшись ни своего казачка, ни Ипа-

---

{8} Комментарии: 2.8

Клеппер (нем. Klepper — кляча) — старинное название эстонских местных лошадей.

това, который направился было к ней навстречу. Проворно подобрав подол своей амазонки, вбежала она по ступеням и, вскочив на террасу, весело воскликнула:

— Вот и я!

— Милости просим! — промолвил Ипатов. — Вот неожиданно-то, вот мило. Позвольте поцеловать вашу ручку…

— Извольте, — возразила гостья, — только стащите перчатку сами. Я не могу. — И, протянув ему руку, кивнула головой Марье Павловне. — Маша, вообрази, брат не будет сегодня, — сказала она с маленьким вздохом.

— Я и так вижу, что его нет, — вполголоса отвечала Марья Павловна.

— Он велел тебе сказать, что занят. Ты не сердись. Здравствуйте, Егор Капитоныч; здравствуйте, Иван Ильич. Здравствуйте, дети… Вася, — прибавила гостья, обратившись к своему казачку, — вели хорошенько проводить Красавчика, слышишь. Маша, дай мне, пожалуйста, булавку, шлейф приколоть… Михаил Николаич, подите-ка сюда.

Ипатов подошел к ней поближе.

— Кто это новое лицо? — спросила она его довольно громко.

— Это сосед, Астахов, Владимир Сергеевич, знаете, чье Сасово. Хотите, я вас с ним познакомлю?

— Хорошо… после. Ах, какая прекрасная погода, — продолжала она. — Егор Капитоныч, скажите, Матрена Марковна неужели даже в такую погоду ворчит?

— Матрена Марковна не ворчит ни в какую погоду, сударыня, а она только строга насчет манер…

— А что делают бирюлевские барышни? Не правда ли, на другой день уже всё им известно…

И она засмеялась звонким и серебристым смехом.

— Вы всё изволите смеяться, — возразил Егор Капитоныч. — Впрочем, когда же и смеяться, как не в ваши года.

— Егор Капитоныч, милый, не сердитесь! Ах, я устала, позвольте сесть…

Надежда Алексеевна опустилась в кресла и шаловливо надвинула шляпу на самые глаза.

Ипатов подвел к ней Владимира Сергеича.

— Позвольте, Надежда Алексеевна, представить вам соседа нашего, господина Астахова, о котором вы, вероятно, много слышали.

Владимир Сергеич поклонился, а Надежда Алексеевна посмотрела на него из-под околышка

своей круглой шляпы.

— Надежда Алексеевна Веретьева, наша соседка, — продолжал Ипатов, обращаясь к Владимиру Сергеичу. — Живет здесь с братцем своим, Петром Алексеичем, отставным гвардии поручиком. Большая приятельница моей свояченице и вообще к нашему дому благоволит.

— Целый формулярный список, — промолвила с усмешкой Надежда Алексеевна, по-прежнему поглядывая на Владимира Сергеича из-под шляпы.

А Владимир Сергеич между тем думал про себя: «Да ведь и эта прехорошенькая». И точно, Надежда Алексеевна была очень милая девица. Тоненькая и стройная, она казалась гораздо моложе, чем была на самом деле. Ей уже минул двадцать седьмой год. Лицо она имела круглое, головку небольшую, пушистые белокурые волосы, острый, почти нахально вздернутый носик и веселые, несколько лукавые глазки. Насмешливость так и светилась в них, так и зажигалась в них искрами. Черты лица ее, чрезвычайно оживленные и подвижные, принимали иногда выражение почти забавное; в них проглядывал юмор. Изредка, большей частью внезапно, тень раздумья набегала на ее лицо — тогда оно

становилось кротким и добродушным, но долго предаваться раздумью она не могла. Она легко схватывала смешные стороны людей и порядочно рисовала карикатуры. С самого рождения ее все баловали, и это тотчас можно было заметить: люди, избалованные в детстве, сохраняют особый отпечаток до конца жизни. Брат ее любил, хотя уверял, что она жалится не как пчела, а как оса, потому что пчела ужалит да и умрет, а осе ужалить ничего не значит. Это сравнение ее сердило.

— Вы надолго сюда приехали? — спросила она Владимира Сергеича, опустив глаза и вертя в руках хлыстик.

— Нет, я располагаю завтра же выехать отсюда.

— Куда?

— Домой.

— Домой? Зачем? Смею спросить.

— Как зачем? Помилуйте, дома у меня дела есть, не терпящие отлагательства.

Надежда Алексеевна посмотрела на него.

— Разве вы такой… аккуратный человек?

— Я стараюсь быть аккуратным человеком, — возразил Владимир Сергеич. — В наше положительное время всякий порядочный человек

должен быть положительным и аккуратным.

— Это совершенно справедливо, — заметил Ипатов. — Не правда ли, Иван Ильич?

Иван Ильич только глянул на Ипатова, а Егор Капитоныч промолвил:

— Да, это так.

— Жаль, — сказала Надежда Алексеевна, — а у нас именно недостает jeune premier[1]. Вы ведь умеете играть комедии?

— Я никогда не испытывал сил своих на этом поприще.

— Я уверена, что вы хорошо бы сыграли. У вас осанка такая… важная, это для нынешних jeune premier необходимо. Мы с братом собираемся завести здесь театр. Впрочем, мы не одни комедии будем играть, мы всё будем играть — драмы, балеты и даже трагедии. Чем Маша не Клеопатра или не Федра?{9} Посмотрите-ка на нее.

Владимир Сергеич обернулся… Прислонившись головою к двери и скрестив руки, Марья Павлов-

---

[1] Сноски: 1.1

актера на роли первого любовника (*франц.).*

{9} Комментарии: 2.9

Чем Маша не Клеопатра или не Федра? — Клеопатра — египетская царица (69–30 гг. до н. э.), знаменитая своей красотой; Федра — героиня греческой мифологии. Трагические судьбы обеих послужили основанием для многих драматических произведений (Шекспира, Расина и др.). В данном случае возможна реминисценция из первой главы «Евгения Онегина», строфа XVII: «Ошикать Федру, Клеопатру…».

на задумчиво глядела вдаль… В это мгновенье ее стройные черты действительно напоминали облики древних изваяний. Последних слов Надежды Алексеевны она не расслышала; но, заметив, что взгляды всех внезапно на нее устремились, она тотчас догадалась, в чем было дело, покраснела и хотела уйти в гостиную… Надежда Алексеевна проворно схватила ее за руку и, с кокетливой ласковостью котенка, притянула к себе и поцеловала эту почти мужскую руку. Марья Павловна вспыхнула еще ярче.

— Ты всё шалишь, Надя, — промолвила она.

— Разве я неправду про тебя сказала? Я готова сослаться на всех… Ну полно, полно, не буду. А я опять-таки скажу, — продолжала Надежда Алексеевна, обратившись к Владимиру Сергеичу, — жаль, что вы едете. Правда, есть у нас один jeune premier, сам навязывается, да уж очень плох.

— Кто такой? Позвольте узнать.

— Бодряков, поэт. Где ж поэту быть jeune premier? Во-первых, он так одевается, что ужас, во-вторых, эпиграммы он пишет, а перед всякой женщиной, даже предо мной, представьте, робеет. Пришепетывает, одна рука у него всегда выше головы и уж не знаю что. Скажите, пожалуйста,

мосьё Астахов, все ли поэты таковы?

Владимир Сергеич слегка выпрямился.

— Я ни одного из них не знал лично, да и, признаться, не искал никогда их знакомства.

— Да, ведь вы положительный человек. Придется взять Бодрякова, нечего делать. Другие jeune premier еще хуже. Этот по крайней мере роль наизусть выучит. Маша у нас, кроме трагических ролей, будет исполнять должность примадонны… Вы, мосьё Астахов, не слыхали, как она поет?

— Нет, — возразил, осклабясь, Владимир Сергеич, — я и не знал…

— Что с тобою сегодня, Надя? — заговорила с недовольным видом Марья Павловна.

Надежда Алексеевна вскочила.

— Ради бога, Маша, спой нам что-нибудь, пожалуйста… пожалуйста… Я от тебя не отстану, пока ты не споешь нам что-нибудь, Маша, душка. Я бы сама спела, чтобы занять гостя, да ведь ты знаешь, какой у меня нехороший голос. Зато, посмотри, как я славно буду тебе аккомпанировать.

Марья Павловна помолчала.

— От тебя не отделаешься, — сказала она наконец. — Ты, как избалованное дитя, привыкла исполнять все свои прихоти. Изволь, я буду петь.

— Браво, браво, — воскликнула Надежда Алексе-

евна и захлопала в ладоши. — Господа, пойдемте в гостиную. А что касается до прихотей, — прибавила она смеясь, — это тебе припомнится. Можно ли при незнакомых людях выставлять мои слабости? Егор Капитоныч, Матрена Марковна *так* вас стыдит при чужих?

— Матрена Марковна, — пробормотал Егор Капитоныч, — очень почтенная дама; только насчет манер…

— Ну пойдемте, пойдемте, — перебила его Надежда Алексеевна и вошла в гостиную.

Все отправились вслед за ней. Она сбросила с себя шляпу и села за фортепьяно. Марья Павловна стала возле стены, довольно далеко от Надежды Алексеевны.

— Маша, — проговорила она, подумав немного, — спой нам «Хлопец сее жито».

Марья Павловна запела. Голос у ней был чист и силен, и пела она хорошо — просто и без вычур. Все слушали ее с большим вниманием, а Владимир Сергеич не мог скрыть свое изумленье. Когда Марья Павловна кончила, он подошел к ней и начал ее уверять, что он никак не ожидал…

— Погодите, то ли еще будет! — перебила его Надежда Алексеевна. — Маша, потешу я твою хохлацкую душу, спой нам теперь «Гомин-гомин

по дуброви…»

— Разве вы малоросска? — спросил ее Владимир Сергеич.

— Я родом из Малороссии, — отвечала она и принялась петь «Гомин-гомин…»

Сначала она выговаривала слова равнодушно, но заунывно-страстный, родной напев расшевелил понемногу ее самое, щеки ее покраснели, взор заблистал, голос зазвучал горячо. Она кончила.

— Боже мой! Как ты это хорошо спела, — проговорила Надежда Алексеевна, склонясь над клавишами. — Как жаль, что брата здесь не было!

Марья Павловна тотчас опустила глаза и усмехнулась своей обычной, горькой усмешкой.

— А надо бы еще что-нибудь, — заметил Ипатов.

— Да, если б вы были так добры, — прибавил Владимир Сергеич.

— Извините меня, я больше петь сегодня не буду, — промолвила Марья Павловна и вышла вон из комнаты.

Надежда Алексеевна посмотрела ей вслед, сперва задумалась, потом улыбнулась, принялась наигрывать одним пальцем «Хлопец сее жито»,

потом вдруг заиграла блестящую польку и, не кончив ее, взяла громкий аккорд, захлопнула крышку фортепьян и встала.

— Жаль, что не с кем потанцевать, — воскликнула она, — вот бы кстати!

Владимир Сергеич подошел к ней.

— Какой чудесный голос у Марьи Павловны, — заметил он, — и с каким она чувством поет!

— А вы любите музыку?

— Да… очень.

— Такой ученый человек и любите музыку!

— Да почему же вы думаете, что я ученый?

— Ах, да; извините, я всё забываю, вы положительный человек. Куда же это ушла Маша? Постойте, я схожу за ней.

И Надежда Алексеевна выпорхнула вон из гостиной.

— Вертушка, как изволите видеть, — промолвил Ипатов, подходя к Владимиру Сергеичу, — но сердце добрейшее. И какое воспитание получила, вы не можете представить! На всех языках объясняется. Ну, люди они с состоянием, оно понятно.

— Да, — рассеянно произнес Владимир Сергеич, — очень любезная девица. Но, позвольте спросить, супруга ваша тоже родом была из Малороссии?

— Точно так-с. Покойница жена моя была малороссиянка, так же, как и сестра ее, Марья Павловна. Жена моя, сказать по правде, даже выговор не совсем имела чистый; хотя она российским языком владела в совершенстве, однако все-таки не совсем правильно изъяснялась; знаете там *и* за *ы,* да *ха,* да *же;* ну Марья Павловна, та еще в малых летах из родины выехала. А ведь малороссиянская кровь всё видна, не правда ли?

— Удивительно поет Марья Павловна, — заметил Владимир Сергеич.

— Действительно, недурно, А впрочем, что же это нам чаю не несут? И куда это барышни ушли? Пора чай пить.

Барышни возвратились нескоро. Между тем принесли самовар, накрыли стол для чаю. Ипатов послал за ними. Они пришли обе вместе. Марья Павловна села за стол разливать чай, а Надежда Алексеевна подошла к двери террасы и стала глядеть в сад. После светлого летнего дня наступил ясный и тихий вечер: заря пылала; до половины облитый ее багрянцем, широкий пруд стоял неподвижным зеркалом, величаво отражая в серебристой мгле своего глубокого лона и всю воздушную бездну неба, и опрокинутые, как бы почерневшие деревья, и дом. Всё замолкло кру-

гом. Шума уже не было нигде.

— Посмотрите, как хорошо, — сказала Надежда Алексеевна подошедшему к ней Владимиру Сергеичу, — вон там, внизу, в пруде звезда зажглась подле огонька в доме; он красный, она золотая. А вот и бабушка едет, — прибавила она громко.

Из-за куста сирени показалась небольшая колясочка. Два человека везли ее. В ней сидела старуха, вся закутанная, вся сгорбленная, с головой, склоненной на самую грудь. Бахрома ее белого чепца почти совсем закрывала ее иссохшее и съеженное личико. Колясочка остановилась перед террасой. Ипатов вышел из гостиной, за ним выбежали его дочки. Они, как мышата, в течение всего вечера то и дело шныряли из комнаты в комнату.

— Доброго вечера желаю вам, матушка, — сказал Ипатов, подходя к старухе и возвысив голос. — Как вы себя чувствуете?

— Приехала посмотреть на вас, — глухо и с усилием проговорила старушка. — Вишь, какой славный вечер. День-то я спала, а теперь ноги заломили. Ох, мне эти ноги! Не служат, а болят.

— Позвольте, матушка, представить вам нашего соседа, господина Астахова, Владимира Сергеича.

— Очень рада, — возразила старуха, окинув его своими большими и черными, но уже потускневшими глазами. — Прошу полюбить моего сынка. Человек он хороший; воспитание я ему дала какое могла; известно, дело женское. Малодушие в нем еще есть, да, бог даст, поостепенится, а пора бы; пора мне сдать ему дела. Это вы, Надя, — прибавила старуха, взглянув на Надежду Алексеевну.

— Я, бабушка.

— А Маша чай разливает?

— Да, бабушка, разливает чай.

— А кто еще там?

— Иван Ильич да Егор Капитоныч.

— Матрены Марковны муж?

— Он, бабушка.

Старуха пожевала губами.

— Ну, хорошо. Да что, Миша, я никак старости не добьюсь; вели ему прийти ко мне завтра пораньше, у меня с ним дела будет много. Без меня у вас, я вижу, всё не так идет. Ну, довольно, устала я, везите меня, вы… Прощайте, батюшка, имени и отчества не помню. — прибавила она, обратившись к Владимиру Сергеичу, — извините старуху. А вы, внучки, не провожайте меня. Не надо. Вам бы только всё бегать. Сидите, сидите

да уроки твердите, слышите. Маша вас балует. Ну, ступайте.

С трудом приподнятая голова старушки опять упала к ней на грудь…

Колясочка тронулась и тихо укатилась.

— Сколько лет вашей матушке? — спросил Владимир Сергеич.

— Всего семьдесят третий год пошел; да вот уж двадцать шесть лет, как ноги у ней отнялись; это с ней случилось скоро после кончины покойного батюшки. А была красавицей.

Все помолчали.

Вдруг Надежда Алексеевна вздрогнула.

— Что это, летучая, кажется, мышь пролетела? Ах, какой ужас!

И она поспешно вернулась в гостиную.

— Пора мне домой ехать. Михаил Николаич, велите оседлать мою лошадь.

— И мне пора, — заметил Владимир Сергеич.

— Куда же вы? — промолвил Ипатов. — Переночуйте здесь. Надежде Алексеевне всего две версты ехать, а вам целых двенадцать. Да и вы, Надежда Алексеевна, куда спешите? Подождите месяца, он теперь скоро взойдет. Еще светлее будет ехать.

— Пожалуй, — сказала Надежда Алексеевна, — я давно не ездила при луне.

— А вы ночуете? — спросил Ипатов Владимира Сергеича.

— Я, право, не знаю… Впрочем, если я не стесню…

— Нисколько, помилуйте, я сейчас велю вам комнату приготовить.

— А ведь хорошо ехать верхом при луне, — заговорила Надежда Алексеевна, как только подали свечи, принесли чай и Ипатов с Егором Капитонычем засели играть в преферанс вдвоем, а Складная Душа безмолвно уселся возле них, — особенно по лесу, между кустами орешника. И жутко, и приятно, и какая странная игра света и тени — всё кажется, как будто кто-то крадется за вами или впереди…

Владимир Сергеич снисходительно осклабился.

— А то вот еще, — продолжала она, — случалось ли вам сидеть в теплую, темную, тихую ночь возле леса; мне всегда кажется тогда, что сзади, близко, над самым ухом, как будто двое горячо спорят чуть слышным шёпотом.

— Это кровь стучит, — проговорил Ипатов.

— Вы очень поэтически описываете, — заметил Владимир Сергеич.

Надежда Алексеевна посмотрела на него.

— Вы думаете?.. В таком случае Маше мои описания не понравились бы.

— Почему? Разве Марья Павловна не любит поэзии?

— Нет; она находит, что всё это сочинено, всё не правда; этого-то она и не любит.

— Странный упрек! — воскликнул Владимир Сергеич. — Сочинено! Да как же иначе? На что же после этого сочинители?

— Ну вот, подите; впрочем, ведь и вы не должны любить поэзии.

— Напротив, я люблю хорошие стихи, когда они действительно хороши и благозвучны и, как бы это сказать, представляют идеи, мысли…

Марья Павловна встала.

Надежда Алексеевна быстро обернулась к ней.

— Куда ты, Маша?

— Детей уложить. Девять часов скоро.

— Да разве без тебя они не лягут?

Но Марья Павловна взяла детей за руки и ушла с ними.

— Она сегодня не в духе, — заметила Надежда Алексеевна, — и я знаю отчего, — прибавила она вполголоса. — Но это пройдет.

— Позвольте спросить, — начал Владимир Сергеич, — вы зиму где намерены провести?

— Может быть, здесь, может быть — в Петербурге. Мне кажется, я в Петербурге соскучусь.

— В Петербурге-то, помилуйте! Как это возможно!

И Владимир Сергеич пустился описывать все удобства, все выгоды и прелести столичной жизни. Надежда Алексеевна слушала его со вниманием, не сводя с него глаз. Она словно изучала его черты и изредка посмеивалась про себя.

— Я вижу, вы очень красноречивы, — сказала она наконец, — придется прожить зиму в Петербурге.

— Вы не будете раскаиваться, — заметил Владимир Сергеич.

— Я никогда ни в чем не раскаиваюсь, не стоит труда. Сделал глупость, старайся поскорей забыть ее — вот и всё.

— Позвольте спросить, — заговорил после небольшого молчания Владимир Сергеич на французском языке, — вы давно знакомы с Марьей Павловной?

— Позвольте спросить, — возразила с быстрой усмешкой Надежда Алексеевна, — почему вы именно этот вопрос мне по-французски сделали?

— Так… без всякой особенной причины…

Надежда Алексеевна опять усмехнулась.

— Нет, я не очень давно ее знаю. А не правда ли, она замечательная девушка?

— Она очень оригинальна, — промолвил Владимир Сергеич сквозь зубы.

— А что — это в ваших устах, в устах положительных людей, похвала? Не думаю. Может быть, и я вам кажусь оригинальной? Однако, — прибавила она, поднимаясь с места и взглянув в раскрытое окно, — луна, должно быть, взошла, это ее отблеск над тополями. Пора ехать… Пойду прикажу оседлать Красавчика.

— Уж он оседлан-с, — проговорил казачок Надежды Алексеевны, выступая из тени сада в полосу света, падавшую на террасу.

— А! Ну прекрасно! Маша, где же ты? Приди проститься со мною.

Марья Павловна появилась из соседней комнаты. Мужчины встали из-за карточного стола.

— Так вы уж и едете? — спросил Ипатов.

— Еду, пора.

Она приблизилась к двери сада.

— Какая ночь! — воскликнула она, — подойдите, подставьте ей лицо; чувствуете вы, она как будто дышит? И какой запах! Все цветы теперь проснулись. Они проснулись — а мы спать собираемся… Да, кстати, Маша, — прибавила она

— я ведь сказала Владимиру Сергеичу, что ты не любишь поэзии. А теперь прощайте… вот и лошадь мою ведут…

И она проворно сбежала по ступеням террасы, легко взобралась на седло, сказала «до завтра» и, ударив лошадь хлыстиком по шее, поскакала к плотине… Казачок пустился рысью за ней.

Все посмотрели ей вслед…

— До завтра! — раздался еще раз ее голос из-за тополей.

Стук копыт долго слышался в тишине летней ночи. Наконец Ипатов предложил вернуться в дом.

— Оно точно, хорошо на воздухе, — сказал он, — а надо же партию нашу доиграть.

Все послушались его. Владимир Сергеич начал расспрашивать Марью Павловну, почему она поэзии не любит.

— Мне стихи не нравятся, — возразила она как бы нехотя.

— Да вы, может быть, мало стихов читали.

— Я сама их не читала, а мне читали.

— И неужели ни одни вам не понравились?

— Ни одни.

— Даже Пушкина стихи?

— Даже Пушкина.

— Отчего?

Марья Павловна не отвечала, а Ипатов, оборотясь через спинку стула, заметил с добродушным смехом, что она не только стихов, но и сахару не любит и вообще ничего сладкого терпеть не может.

— Да ведь есть стихи не сладкие, — возразил Владимир Сергеич.

— Например? — спросила его Марья Павловна.

Владимир Сергеич почесал у себя за ухом… Он сам не много стихов знал на память, особенно не сладких.

— Да вот, — воскликнул он, наконец, — знаете вы «Анчар» Пушкина? Нет? Уж это стихотворение никак не может назваться сладким.

— Прочтите, — проговорила Марья Павловна и потупилась.

Владимир Сергеич сперва посмотрел в потолок, нахмурился, помычал немного про себя и, наконец, прочел «Анчар».

После первых четырех стихов Марья Павловна медленно подняла глаза, а когда Владимир Сергеич кончил, так же медленно сказала:

— Пожалуйста, прочтите опять.

— Стало быть, эти стихи вам понравились? — спросил Владимир Сергеич.

— Прочтите еще.

Владимир Сергеич повторил «Анчар». Марья Павловна встала, вышла в другую комнату и вернулась с листом бумаги, чернильницей и пером.

— Пожалуйста, напишите это для меня, — сказала она Владимиру Сергеичу.

— Извольте, с удовольствием, — возразил он, принимаясь писать, — но, признаюсь, я удивляюсь, отчего эти стихи могли вам так понравиться. Я их прочел собственно для того, чтобы показать вам, что не все стихи бывают сладкие.

— Признаюсь! — воскликнул Ипатов. — Что ты думаешь об этих стихах, Иван Ильич?

Иван Ильич, по своему обыкновению, только взглянул на Ипатова, но не вымолвил ни слова.

— Вот-с — готово, — произнес Владимир Сергеич, поставив восклицательный знак в конце последнего стиха.

Марья Павловна поблагодарила его и унесла исписанный листок к себе.

Через полчаса подали ужин, и через час все гости разошлись по своим комнатам. Владимир Сергеич неоднократно обращался к Марье Павловне, но вести разговор с ней было трудно, и рассказы его, казалось, не слишком ее занимали. Ложась спать, он много думал о ней и о Надежде

Алексеевне. Впрочем, он бы, вероятно, скоро заснул, если б не помешал ему сосед, Егор Капитоныч. Муж Матрены Марковны, уже совершенно раздевшись и лежа в постели, очень долго разговаривал с своим слугою, всё наставления ему читал. Каждое слово его явственно доходило до слуха Владимира Сергеича: одна тонкая перегородка их разделяла.

— Держи свечку перед своею грудью, — говорил Егор Капитоныч жалобным голосом, — держи так, чтобы я лицо твое мог видеть. Состарил ты меня, состарил, бессовестный ты человек, состарил совершенно.

— Да чем, помилуйте, состарил я вас, Егор Капитоныч? — послышался глухой и заспанный голос слуги.

— Чем? Я скажу чем. Сколько раз я тебе говорил: Митька, говорил я тебе, когда ты со мной куда в гости поедешь, всегда забирай по две штуки каждого платья, особенно… держи свечку перед грудью… особенно нижнего. А сегодня что ты со мной сделал?

— Что-с?

— Что-с? Завтрашний день что я надену?

— Да то же, что и сегодня-с.

— Состарил ты меня, злодей, состарил. Я уж и

сегодня не знал, куда от жары деться. Держи свечку перед грудью, говорят тебе, да не спи, когда барин с тобой беседует.

— Да и Матрена Марковна сказала-с, что довольно, мол, на что такую пропасть всегда с собой забираете. Только трется даром.

— Матрена Марковна… Разве это женское дело, в это входить? Состарили вы меня. Ох, состарили!

— Да и Яхим тоже говорил-с.

— Как ты сказал?

— Я говорю, Яхим тоже говорил-с.

— Яхим! Яхим! — повторил с укоризной Егор Капитоныч, — эх, состарили меня, окаянные, говорить по-русски не умеют путем. Яхим! Что за Яхим? Ефим, ну это куда еще не шло, сказать можно; для того, что настоящее, греческое имя есть Евфимий, понимаешь ты меня?.. держи свечку перед грудью… так для скорости, пожалуй, можно сказать Ефим, но уж никак не Яхим. Яхим! — прибавил Егор Капитоныч, напирая на букву *я*. — Состарили меня, злодеи. Держи свечку перед грудью!

И долго еще продолжал Егор Капитоныч наставлять слугу своего уму-разуму, несмотря на вздохи, покашливанья и другие знаки нетерпе-

ния Владимира Сергеича…

Наконец он отпустил своего Митьку и заснул, но и от этого Владимиру Сергеичу не стало легче: Егор Капитоныч так сильно и густо храпел, с такими игривыми переходами от высоких тонов к самым низким, с такими присвистываниями и даже прищелкиваниями, что, казалось, сама перегородка вздрагивала ему в ответ; бедный Владимир Сергеич чуть не плакал. В отведенной ему комнате было очень душно, и перина, на которой он лежал, охватывала всё его тело каким-то ползучим жаром.

В отчаянье Владимир Сергеич, наконец, встал, раскрыл окно и с жадностью стал вдыхать благовонную ночную свежесть. Окно выходило в сад; на небе было светло, круглый лик полной луны то отражался ясно в пруде, то вытягивался в длинный золотой сноп медленно переливавшихся блесток. На одной из дорожек сада Владимир Сергеич увидал какую-то фигуру в женском платье, он пригляделся: это была Марья Павловна; в лучах луны лицо ее казалось бледным. Она стояла неподвижно и вдруг заговорила… Владимир Сергеич вытянул осторожно голову…

Но человека человек

Послал к анчару властным взглядом…
—

дошло до его слуха…

«Каково, — подумал он, — стало быть, подействовали стишки…»

И он с удвоенным вниманием стал вслушиваться… Но Марья Павловна скоро умолкла и поворотила лицо свое еще прямее к нему, он мог различить ее темные большие глаза, ее строгие брови и губы…

Вдруг она вздрогнула, обернулась, вошла в тень, падавшую от сплошной стены высоких акаций, и исчезла. Владимир Сергеич постоял довольно долго у окна, потом, однако ж, лег, но заснул не скоро.

«Странное существо, — думал он, переворачиваясь с боку на бок, — а говорят, в провинции нет ничего особенного… Как бы не так! Странное существо! Спрошу ее завтра, что она делала в саду».

А Егор Капитоныч всё храпел по-прежнему.

III

На другое утро Владимир Сергеич проснулся довольно поздно и тотчас после общего чая и завтрака в столовой поехал к себе домой оканчивать свои хозяйственные распоряжения, как ни удерживал его старик Ипатов. Марья Павловна также присутствовала за чаем; однако Владимир Сергеич не счел за нужное расспрашивать ее об ее вчерашней поздней прогулке; он принадлежал к числу людей, которым тяжело предаваться два дня сряду каким бы то ни было необычным мыслям и предположениям. Пришлось бы толковать о стихах, а так называемое «поэтическое» настроение весьма скоро его утомляло. Целый день до обеда он провел в поле, покушал с большим аппетитом, соснул и, проснувшись, взялся было за счеты земского; но, не окончивши первой страницы, велел заложить тарантас и отправился в Ипатовку. Видно, и положительные люди носят в груди не каменное сердце, и скучать не любят они так же, как и остальные, простые смертные.

Въезжая на плотину, услыхал он голоса и звуки музыки. У Ипатовых в доме хором пели русские

песни. Он застал всё общество, оставленное им поутру, на террасе; все, и Надежда Алексеевна между прочими, сидели в кружке около мужчины лет тридцати двух, смуглого, черноволосого и черноглазого, в бархатной куртке, с небрежно повязанным красным платком на шее и гитарою в руках. Это был Петр Алексеевич Веретьев, брат Надежды Алексеевны. Увидавши Владимира Сергеича, старик Ипатов с радостным восклицанием пошел ему навстречу, подвел его к Веретьеву и представил их друг другу. Обменявшись с новым знакомым обычными приветствиями, Астахов почтительно поклонился его сестре.

— А мы, Владимир Сергеич, по-деревенски, песни поем, — начал Ипатов и, указывая на Веретьева, прибавил: — Петр Алексеич у нас запевала — и какой! Вы извольте послушать.

— Это очень приятно, — возразил Владимир Сергеич.

— Не угодно ли присоединиться к хору? — спросила его Надежда Алексеевна.

— Душевно бы рад, да голосу нету.

— Это не беда! Посмотрите, и Егор Капитоныч поет, и я пою. Тут только нужно подтягивать. Садитесь-ка; а ты, брат, начинай.

— Какую бы теперь нам песню спеть? — про-

говорил Веретьев, перебирая струны гитары и, остановившись вдруг, глянул на Марью Павловну, сидевшую возле него. — Теперь, кажется, очередь за вами, — сказал он ей.

— Нет, пойте вы, — возразила Марья Павловна.

— Вот есть песня «Вниз по матушке по Волге», — промолвил с важностью Владимир Сергеич.

— Нет, эту мы к концу приберегаем, — отвечал Веретьев и, ударив по струнам, протяжно затянул: «Солнце на закате».{10}

Он пел славно, бойко и весело. Его мужественное лицо, и без того выразительное, еще более оживлялось, когда он пел; изредка подергивал он плечами, внезапно прижимал струны ладонью, поднимал руку, встряхивал кудрями и соколом взглядывал кругом. Он в Москве не раз видал знаменитого Илью{11} и подражал ему. Хор дружно ему подтягивал. Звучной струей отделялся голос Марьи Павловны ото всех других голосов; он словно вел их за собою; но одна она петь не

{10} Комментарии: 2.10

«Солнце на закате» — народная песня на слова поэта-песенника С. Митрофанова (см.: Песни русские известного охотника М., изданные им же, в удовольствие любителей оных. СПб., 1799, с. 36).

{11} Комментарии: 2.11

…знаменитого Илью… — Илья Осипович Соколов — руководитель цыганского хора, пользовавшегося большой популярностью в 20–40-е годы XIX века (см.: Пыляев М. И. Старый Петербург. СПб., 1887, с. 400–401).

хотела, запевалой до конца остался Веретьев.

Много других еще пели песен…

Между тем вместе с вечером надвигалась гроза. Уже с полудня парило и в отдалении всё погрохатывало; но вот широкая туча, давно лежавшая свинцовой пеленой на самой черте небосклона, стала расти и показываться из-за вершин деревьев, явственнее начал вздрагивать душный воздух, всё сильнее и сильнее потрясаемый приближавшимся громом; ветер поднялся, прошумел порывисто в листьях, замолк, опять зашумел продолжительно, загудел; угрюмый сумрак побежал над землею, быстро сгоняя последний отблеск зари; сплошные облака, как бы сорвавшись, поплыли вдруг, понеслись по небу; дождик закапал, молния вспыхнула красным огнем, и гром грянул тяжко и сердито.

— Уйдемте, — промолвил старик Ипатов. — А то промочит, пожалуй.

Все встали.

— Сейчас, — воскликнул Веретьев, — еще последнюю песню. Слушайте.

Ах вы, сени, мои сени,

Сени новые мои...[{12}] —

запел он громким голосом, проворно забив всей рукой по струнам гитары. «Сени новые, кленовые», — подхватил хор, как бы невольно увлеченный. Дождик почти в то же мгновенье хлынул ручьями; но Веретьев допел «Мои сени» до конца. Изредка заглушаемая ударами грома, удалая песенка казалась еще удалее под шумную дробь и журчанье дождя. Наконец раздался последний взрыв хора — и всё общество с хохотом вбежало в гостиную. Особенно громко смеялись девочки, дочери Ипатова, стряхивая с своих платьев дождевые брызги. Ипатов, однако же, для предосторожности, закрыл окно и запер дверь, и Егор Капитоныч его похвалил, заметив, что Матрена Марковна также всегда, во время грозы, всё приказывает запереть для того, что электричество способнее действует в пустом промежутке. Бодряков посмотрел ему в лицо, посторонился и уронил стул. Подобные маленькие несчастья случались с ним беспрестанно.

Гроза прошла очень скоро. Двери и окна снова раскрылись, и комнаты наполнились влажным

{12} Комментарии: 2.12

«Ах вы, сени, мои сени» — русская народная песня, ранние варианты которой встречаются в песенниках 1790 и 1791 годов.

благовонием. Принесли чай. После чаю старички уселись опять за карты. Иван Ильич к ним, по обыкновению, присоединился. Владимир Сергеич подошел было к Марье Павловне, сидевшей под окном с Веретьевым; но Надежда Алексеевна подозвала его к себе и тотчас вступила с ним в жаркий разговор о Петербурге и петербургской жизни. Она нападала на нее; Владимир Сергеич начал защищать ее. Надежда Алексеевна, казалось, старалась удержать его близ себя.

— О чем вы это спорите? — спросил Веретьев, вставая и приближаясь к ним.

Он лениво переваливался на ходу: во всех его движениях замечалась не то небрежность, не то усталость.

— Всё о Петербурге, — ответила Надежда Алексеевна. — Владимир Сергеич не нахвалится им.

— Город хороший, — заметил Веретьев, — а по-моему, везде хорошо. Ей-богу. Были бы две-три женщины, да, извините за откровенность, вино, и человеку, право, ничего не остается желать.

— Это меня удивляет, — возразил Владимир Сергеич, — неужели же вы действительно того мнения, что для образованного человека не существует…

— Может быть… точно… я с вами согласен, —

перебил его Веретьев, за которым, при всей вежливости, водилась привычка не дослушивать возражения, — но это не по моей части, я не философ.

— Да и я не философ, — ответил Владимир Сергеич, — и нисколько не желаю быть им; но тут речь идет совсем о другом.

Веретьев рассеянно глянул на свою сестру, а она, слегка усмехнувшись, нагнулась к нему и вполголоса прошептала:

— Петруша, душка, представь нам Егора Капитоныча, сделай одолженье.

Лицо Веретьева мгновенно изменилось и, бог ведает каким чудом, стало необыкновенно похоже на лицо Егора Капитоныча, хотя между чертами того и другого решительно не было ничего общего, и сам Веретьев едва только сморщил нос и опустил углы губ.

— Конечно, — начал он шептать голосом, совершенно напоминавшим голос Егора Капитоныча, — Матрена Марковна дама строгая насчет манер; но супруга зато примерная. Правда, что бы я ни сказал…

— Бирюлевским барышням всё известно, — подхватила Надежда Алексеевна, едва удерживая хохот.

— Всё на другой же день известно, — ответил Веретьев с такой уморительной ужимкой, с таким смущенным, косвенным взглядом, что даже Владимир Сергеич рассмеялся.

— У вас, я вижу, большой талант к подражанию, — заметил он.

Веретьев провел рукой по лицу, черты его приняли обычное выражение, а Надежда Алексеевна воскликнула:

— О, да! Он всех умеет передразнить, кого только захочет… Он на это мастер.

— И меня бы, например, сумели представить? — спросил Владимир Сергеич.

— Еще бы! — возразила Надежда Алексеевна, — разумеется.

— Ах, сделайте одолжение, представьте меня, — промолвил Астахов, обращаясь к Веретьеву. — Я прошу вас, без церемоний.

— А вы ей и поверили? — ответил Веретьев, чуть-чуть прищурив один глаз и придав своему голосу звук астаховского голоса, но так осторожно и легко, что одна Надежда Алексеевна это заметила и прикусила губы, — вы, пожалуйста, ей не верьте, она вам еще не то наскажет про меня.

— И какой он актер, если б вы знали, — продолжала Надежда Алексеевна, — всевозможные роли

играет. Так чудесно! Он наш режиссер, и суфлер, и всё что хотите. Жаль, что вы скоро едете.

— Сестра, твое пристрастие тебя ослепляет, — произнес важным голосом, но всё с тем же оттенком, Веретьев. — Что подумает о тебе господин Астахов? Он сочтет тебя за провинциалку.

— Помилуйте… — начал было Владимир Сергеич.

— Петруша, знаешь что, — подхватила Надежда Алексеевна, — представь, пожалуйста, как пьяный человек никак не может достать платок из кармана, или нет, лучше представь, как мальчик муху на окне ловит и она у него жужжит под пальцами.

— Ты совершенное дитя, — отвечал Веретьев.

Однако он встал и, подойдя к окну, возле которого сидела Марья Павловна, начал водить рукой по стеклу и представлять, как мальчик ловит муху. Верность, с которой он подражал ее жалобному писку, была точно изумительна. Казалось, действительная, живая муха билась у него под пальцами. Надежда Алексеевна засмеялась, и понемногу все засмеялись в комнате. У одной лишь Марьи Павловны лицо не изменилось, губы даже не дрогнули Она сидела с опущенными глазами, наконец подняла их и, серьезно взглянув на Ве-

ретьева, промолвила сквозь зубы:

— Вот охота делать из себя шута.

Веретьев тотчас отвернулся от окна и, постояв немного посреди комнаты, вышел на террасу, а оттуда в сад, уже совершенно потемневший.

— Забавник этот Петр Алексеич! — воскликнул Егор Капитоныч, ударив с размаху козырной семеркой по чужому тузу. — Право, забавник!

Надежда Алексеевна встала и, торопливо подойдя к Марье Павловне, спросила ее вполголоса:

— Что ты сказала брату?

— Ничего, — ответила та.

— Как ничего, не может быть.

И погодя немного Надежда Алексеевна промолвила: «Пойдем!» — взяла Марью Павловну за руку и принудила ее встать и отправиться вместе с нею в сад.

Владимир Сергеич поглядел обеим девицам вслед не без недоумения. Впрочем, отсутствие их продолжалось недолго; через четверть часа они возвратились, и Петр Алексеич вошел вместе с ними.

— Какая прекрасная ночь! — воскликнула, входя, Надежда Алексеевна. — Как хорошо в саду!

— Ах, да, кстати, — промолвил Владимир Серге-

ич, — позвольте узнать, Марья Павловна, вас ли это я видел вчера в саду ночью?

Марья Павловна быстро взглянула ему в глаза.

— Еще вы, сколько я мог расслышать, декламировали «Анчар» Пушкина.

Веретьев слегка нахмурился и также принялся смотреть на Астахова.

— Это точно была я, — сказала Марья Павловна, — но только я ничего не декламировала: я никогда не декламирую.

— Может быть, мне показалось, — начал Владимир Сергеич, — однако…

— Вам показалось, — холодно промолвила Марья Павловна.

— Что это за «Анчар»? — спросила Надежда Алексеевна.

— А вы не знаете? — возразил Астахов. — Пушкина стихи «На почве чахлой и скупой»,{13} будто вы не помните?

— Не помню что-то… Этот анчар — ядовитое дерево?

— Да.

{13} Комментарии: 2.13

«На почве чахлой и скупой»… — Неточная цитата из стихотворения «Анчар» (1828); у Пушкина:

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной…

— Как датуры…{14} Помнишь, Маша, как хороши были датуры у нас на балконе, при луне, с своими длинными белыми цветами. Помнишь, какой из них лился запах, сладкий, вкрадчивый и коварный.

— Коварный запах! — воскликнул Владимир Сергеич.

— Да, коварный. Чему вы удивляетесь? Он, говорят, опасен, а привлекает. Отчего злое может привлекать? Злое не должно бы быть красивым!

— Ого! Какие умозрения! — заметил Петр Алексеич, — куда мы удалились от стихов!

— Я эти стихи прочел вчера Марье Павловне, — подхватил Владимир Сергеич, — и они ей чрезвычайно понравились.

— Ах, прочтите их, пожалуйста, — сказала Надежда Алексеевна.

— Извольте-с.

И Астахов прочел «Анчар».

— Слишком напыщенно, — произнес как бы нехотя Веретьев, как только Владимир Сергеич кончил.

— Стихотворение слишком напыщенно?

— Нет, не стихотворение… Извините меня, мне

{14} Комментарии: 2.14
Датура (Datura), или дурман — ядовитое растение.

кажется, вы не довольно просто читаете. Дело говорит само за себя; впрочем, я могу ошибаться.

— Нет, ты не ошибаешься, — сказала Надежда Алексеевна с расстановкой.

— О, да ведь это известно! Я в твоих глазах гений, даровитейший человек, который всё знает, всё бы мог сделать, да только лень, к несчастью, его одолевает: не правда ли?

Надежда Алексеевна только головой качнула.

— Я с вами не спорю, вы это лучше должны знать, — заметил Владимир Сергеич и немного надулся. — Это не по моей части.

— Я ошибся, извините, — поспешно произнес Веретьев.

Между тем игра кончилась.

— Ах, кстати, — заговорил Ипатов, вставая, — Владимир Сергеич, мне поручил один здешний помещик, сосед, прекраснейший и почтеннейший человек, Акилин, Гаврила Степаныч, просить вас, не сделаете ли вы ему честь, не пожалуете ли к нему на бал, то есть я это так, для красоты слога, говорю: бал, а просто на вечеринку с танцами, без церемоний? Он бы сам к вам непременно явился, да побоялся обеспокоить.

— Я очень благодарен господину помещику, — возразил Владимир Сергеич, — но мне

непременно нужно ехать домой…

— Да ведь что вы думаете, когда бал-то? Ведь завтра бал. Гаврила Степаныч завтра именинник. Один день куда ни шел, а уж как вы его обрадуете! И всего отсюда десять верст. Если позволите, мы же вас и довезем.

— Я, право, не знаю, — начал Владимир Сергеич. — А вы едете?

— Всем семейством! И Надежда Алексеевна, и Петр Алексеич, все едут!

— Вы можете, если хотите, теперь же меня пригласить на пятую кадриль, — заметила Надежда Алексеевна. — Первые четыре уже разобраны.

— Вы очень любезны, а на мазурку вы уже приглашены?

— Я? Дайте вспомнить… нет, кажется, не приглашена.

— В таком случае, если вы будете так добры, я бы желал иметь честь…

— Стало быть, вы едете? Прекрасно. Извольте.

— Браво! — воскликнул Ипатов. — Ну, Владимир Сергеич, одолжили. Гаврила Степаныч просто в восторг придет. Не правда ли, Иван Ильич?

Иван Ильич хотел было, по неизменной привычке своей, промолчать, однако почел за лучшее

произнести одобрительный звук.

— Что тебе была за охота, — говорил час спустя Петр Алексеич своей сестре, сидя с ней в легонькой таратайке, которой правил сам, — что тебе была за охота навязаться этому кисляю на мазурку?

— У меня на то свои планы, — возразила Надежда Алексеевна.

— Какие — позволь узнать?

— Это моя тайна.

— Ого!

И он слегка ударил бичом лошадь, которая начала было прясть ушами, фыркать и упираться. Ее пугала тень от большого ракитового куста, падавшая на дорогу, тускло озаренную месяцем.

— А ты танцуешь с Машей? — спросила Надежда Алексеевна в свою очередь брата.

— Да, — сказал он равнодушно.

— Да! Да! — повторила Надежда Алексеевна с укоризной. — Вы, мужчины, — прибавила она помолчав, — решительно не стоите того, чтобы вас любили порядочные женщины.

— Ты думаешь? Ну, а этот петербургский кисляй, этот стоит?

— Скорее, чем ты.

— Вот как!

И Петр Алексеич проговорил со вздохом:

Что за комиссия, создатель,
Быть… братом выросшей сестры!{15}

Надежда Алексеевна засмеялась.

— Много я тебе хлопот доставляю, нечего сказать. Мне так вот комиссия с тобою.

— Неужели? — я этого никак не подозревал.

— Я не насчет Маши говорю.

— На какой же счет?

Лицо Надежды Алексеевны слегка опечалилось.

— Ты сам знаешь, — проговорила она тихо.

— А, понимаю! Что делать-с, Надежда Алексеевна, люблю-с выпить с добрым приятелем, грешный человек, люблю-с.

— Полно, брат, пожалуйста, не говори так… Этим не шутят.

— Трам-трам-там-пум, — забормотал Петр Алексеич сквозь зубы.

— Это твоя погибель, а ты шутишь…

— «Хлопец сее жито, жинка каже мак», — громко запел Петр Алексеич, ударил вожжами

{15} Комментарии: 2.15

Что за комиссия ~ выросшей сестры! — Перефразировка восклицания Фамусова в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие 1, явл. 10): Что за комиссия, создатель, Быть взрослой дочери отцом!

лошадь, и она помчалась шибкой рысью.

IV

Приехавши домой, Веретьев не раздевался, и часа два спустя, заря только что начинала заниматься в небе, его уже не было в доме.

На полдороге между его имением и Ипатовкой, над самой кручью широкого оврага, находился небольшой березовый «заказ». Молодые деревья росли очень тесно, ничей топор еще не коснулся до их стройных стволов; негустая, но почти сплошная тень ложилась от мелких листьев на мягкую и тонкую траву, всю испещренную золотыми головками куриной слепоты, белыми точками лесных колокольчиков и малиновыми крестиками гвоздики. Недавно вставшее солнце затопляло всю рощу сильным, хотя и не ярким светом; везде блестели росинки, кой-где внезапно загорались и рдели крупные капли; всё дышало свежестью, жизнью и той невинной торжественностью первых мгновений утра, когда всё уже так светло и так еще безмолвно. Только и слышались, что рассыпчатые голоса жаворонков над отдаленными полями, да в самой роще две-три птички, не торопясь, выводили свои коротенькие

коленца и словно прислушивались потом, как это у них вышло. От мокрой земли пахло здоровым крепким запахом, чистый, легкий воздух переливался прохладными струями. Утром, славным летним утром веяло от всего, всё глядело и улыбалось утром, точно румяное, только что вымытое личико проснувшегося ребенка.

Невдалеке от оврага, посреди лужайки сидел на раскинутом плаще Веретьев. Марья Павловна стояла подле него, прислонясь к березе и заложив назад руки.

Они оба молчали. Марья Павловна неподвижно глядела вдаль; белый шарф скатился с ее головы на плечи, набегавший ветер шевелил и приподнимал концы ее наскоро причесанных волос. Веретьев сидел наклонившись и похлопывал веткой по траве.

— Что ж, — начал он наконец, — вы на меня сердитесь?

Марья Павловна не отвечала. Веретьев взглянул на нее.

— Маша, вы сердитесь? — повторил он.

Марья Павловна окинула его быстрым взором, слегка отвернулась и промолвила:

— Да.

— За что? — спросил Веретьев и отбросил вет-

ку.

Марья Павловна опять не отвечала.

— Впрочем, вы точно имеете право сердиться на меня, — начал Веретьев после небольшого молчанья. — Вы должны считать меня за человека не только легкомысленного, но даже…

— Вы меня не понимаете, — перебила Марья Павловна. — Я совсем не за себя сержусь на вас.

— За кого же?

— За вас самих.

Веретьев поднял голову и усмехнулся.

— А! Понимаю! — заговорил он. — Опять! Опять васначинает тревожить мысль: отчего я ничего из себя не сделаю? Знаете что, Маша, вы удивительное существо, ей-богу. Вы так много заботитесь о других и так мало о себе самой. В вас эгоизма совсем нет, право. Другой такой девушки, как вы, на свете нет. Одно горе: я решительно не стою вашей привязанности; это я говорю не шутя.

— Тем хуже для вас. Чувствуете и ничего не делаете.

Веретьев опять усмехнулся.

— Маша, выньте из-за спины, дайте мне вашу руку, — проговорил он с ласковой вкрадчивостью в голосе.

Марья Павловна только плечом пожала.

— Дайте мне вашу красивую, честную руку, мне хочется облобызать ее почтительно и нежно. Так ветреный ученик лобызает руку своего снисходительного наставника.

И Веретьев потянулся к Марье Павловне.

— Полноте! — промолвила она. — Вы всё смеетесь да шутите, и прошутите так всю вашу жизнь.

— Гм! Прошутить жизнь! Новое выражение! Ведь вы, Марья Павловна, я надеюсь, употребили глагол шутить — в смысле действительном?

Марья Павловна нахмурила брови.

— Полноте, Веретьев, — повторила она.

— Прошутить жизнь, — продолжал Веретьев и приподнялся, — а вы хуже моего распорядитесь, вы просурьезничаете всю вашу жизнь. Знаете, Маша, вы мне напоминаете одну сцену из пушкинского Дон-Жуана.{16} Вы не читали пушкинского Дон-Жуана?

— Нет.

— Да, я ведь и забыл, вы стихов не читаете. Там к одной Лауре приходят гости, она их всех прогоняет и остается с одним, Карлосом. Они оба выходят

{16} Комментарии: 2.16

…из пушкинского Дон-Жуана. — Трагедия А. С. Пушкина «Каменный гость» (1830), напечатанная посмертно, в 1839 г., — новинка в то время, когда происходит действие повести.

на балкон, ночь удивительная. Лаура любуется, а Карлос вдруг начинает ей доказывать, что она со временем состарится. «Что ж, отвечает Лаура, теперь, может быть, в Париже холод и дождь, а здесь у нас „ночь лимоном и лавром пахнет“». Что загадывать о будущем? Оглянитесь, Маша, разве и здесь не прекрасно? Посмотрите, как всё радуется жизни, как всё молодо. И мы сами разве не молоды?

Веретьев приблизился к Марье Павловне, она не отодвинулась от него, но не повернула к нему головы.

— Улыбнитесь, Маша, — продолжал он, — только доброй вашей улыбкой, а не вашей обыкновенной усмешкой. Я люблю вашу добрую улыбку. Поднимите ваши гордые, строгие глаза. Что же вы? Вы отворачиваетесь? Протяните мне хоть руку.

— Ах, Веретьев, — начала Маша, — вы знаете, я не умею говорить. Вы мне рассказали об этой Лауре. Но ведь она женщина… Женщине простительно не думать о будущем.

— Когда вы говорите, Маша, — возразил Веретьев, — вы беспрестанно краснеете от самолюбия и стыдливости, кровь так и приливает алым потоком в ваши щеки, я ужасно это люблю в вас.

Марья Павловна взглянула прямо в глаза Веретьеву.

— Прощайте, — промолвила она и накинула шарф себе на голову.

Веретьев удержал ее.

— Полноте, полноте, подождите! — воскликнул он. — Ну, что вы хотите? Приказывайте! Хотите вы, чтобы я поступил на службу, сделался агрономом? Хотите, чтобы я издал романсы с аккомпанементом гитары, напечатал бы собрание стихотворений, рисунков, занялся бы живописью, ваяньем, плясаньем на канате? Всё, всё я сделаю, всё, что прикажете, лишь бы вы были мною довольны! Ну, право же, Маша, поверьте мне.

Марья Павловна опять взглянула на него.

— Всё это вы только на словах, не на деле. Вы уверяете, что слушаетесь меня.

— Конечно, слушаюсь.

— Слушаетесь, а вот я сколько раз вас просила…

— О чем?

Марья Павловна запнулась.

— Не пить вина, — промолвила она наконец.

Веретьев засмеялся.

— Эх, Маша, Маша! И вы туда же! Сестра моя

тоже об этом убивается. Да, во-первых, я вовсе не пьяница; а во-вторых, знаете ли вы, для чего я пью? Посмотрите-ка вон на эту ласточку… Видите, как она смело распоряжается своим маленьким телом, куда хочет, туда его и бросит! Вон взвилась, вон ударилась книзу, даже взвизгнула от радости, слышите? Так вот я для чего пью, Маша, чтобы испытать те самые ощущения, которые испытывает эта ласточка… Швыряй себя куда хочешь, несись куда вздумается…

— Да к чему же это? — перебила Маша.

— Как к чему? — из чего же тогда жить?

— А разве без вина этого нельзя?

— Нельзя, все мы попорчены, измяты. Вот страсть… та такое же производит действие. Оттого-то я вас люблю.

— Как вино… покорно благодарю.

— Нет, Маша; я вас люблю не как вино. Постойте, я вам это докажу когда-нибудь, вот когда мы женимся и поедем с вами за границу. Знаете ли, я уже заранее думаю, как я приведу вас перед Милосскую Венеру. Вот кстати будет сказать:

Стоит ли с важностью очей
Перед Милосскою Кипридой —
Их две, и мрамор перед ней

Страдает, кажется, обидой…{17}

Что это я сегодня всё говорю стихами? Это утро, должно быть, на меня действует. Что за воздух! Точно вино пьешь.

— Опять вино, — заметила Марья Павловна.

— Что ж такое! Этакое утро да вы со мной, и не чувствовать себя опьяненным! «С важностью очей…» Да, — продолжал Веретьев, глядя пристально на Марью Павловну, — это так… А ведь я помню, я видал, редко, но видал эти темные великолепные глаза, я видал их нежными! И как они прекрасны тогда! Ну, не отворачивайтесь, Маша, ну по крайней мере засмейтесь… покажите мне глаза ваши хотя веселыми, если уже они не хотят удостоить меня нежным взглядом.

— Перестаньте, Веретьев, — проговорила Марья Павловна. — Пустите меня, мне пора домой.

— А ведь я вас рассмешу, — подхватил Веретьев, — ей-богу, рассмешу. Э, кстати, посмотрите, вон заяц бежит…

— Где? — спросила Марья Павловна.

— Вон за оврагом, по овсяному полю. Его, долж-

{17} Комментарии: 2.17

Стоит ли ~ кажется, обидой… — Из стихотворения Пушкина «Кто знает край, где небо блещет» (1828); вторая строка процитирована неточно. Нужно: «Пред флорентийскою Кипридой»; напечатано посмертно в 1838 г. в «Современнике».

но быть, кто-нибудь вспугнул; они по утрам не бегают. Хотите, я его остановлю сейчас?

И Веретьев громко свистнул. Заяц тотчас присел, повел ушами, поджал передние лапки, выпрямился, пожевал, пожевал, понюхал воздух и опять пожевал. Веретьев проворно сел на корточки, наподобие зайца, и стал водить носом, нюхать и жевать, как он. Заяц провел раза два лапками по мордочке, встряхнулся — они, должно быть, были мокры от росы, — уставил уши и покатил дальше. Веретьев потер себя руками по щекам и также встряхнулся… Марья Павловна не выдержала и засмеялась.

— Браво! — воскликнул Веретьев и вскочил, — браво! Вот то-то и есть, вы не кокетка. Знаете ли, что если бы у какой-нибудь светской барышни были такие зубы, как у вас, она бы вечно смеялась! Но за то я и люблю вас, Маша, что вы не светская барышня, не смеетесь без нужды, не носите перчаток на ваших руках, которые и целовать оттого так весело, что они загорели и силу в них чувствуешь… Я люблю вас за то, что вы не умничаете, что вы горды, молчаливы, книг не читаете, стихов не любите…

— А хотите, я вам прочту стихи? — перебила его Марья Павловна, с каким-то особенным выра-

жением в лице.

— Стихи? — спросил с изумлением Веретьев.

— Да, стихи, те самые, которые вчера читал этот петербургский господин.

— Опять «Анчар»?.. Так вы точно его декламировали в саду ночью? Он к вам идет… Но разве он так вам понравился?

— Да, понравился.

— Прочтите.

Марья Павловна застыдилась…

— Читайте, читайте, — повторил Веретьев.

Марья Павловна начала читать. Веретьев стал перед ней, скрестил руки на груди и принялся слушать. При первом стихе Марья Павловна медленно подняла глаза к небу, ей не хотелось встречаться взорами с Веретьевым. Она читала своим ровным, мягким голосом, напоминавшим звуки виолончели; но когда она дошла до стихов:

И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки… —

ее голос задрожал, недвижные, надменные брови приподнялись наивно, как у девочки, и глаза с невольной преданностью остановились на Веретьеве…

Он вдруг бросился к ее ногам и обнял ее колени.

— *Я* твой раб, — воскликнул он, — я у ног твоих, ты мой владыка, моя богиня, моя волоокая Гера,{18} моя Медея…{19}

Марья Павловна хотела оттолкнуть его; но руки ее замерли на густых его кудрях, и она, с улыбкой замешательства, уронила голову на грудь…

{18} Комментарии: 2.18

…волоокая Гера… — Греческая богиня, супруга Зевса (соответствует римской Юноне). Для нее характерны большие на выкате «воловьи» глаза. Волоокой Гера названа и в «Илиаде» Гомера (см. перевод Н. И. Гнедича).

{19} Комментарии: 2.19

Медея — мифологический образ сильной и страстной женщины, в борьбе за свою любовь не останавливающейся перед преступлением.

V

Гаврила Степаныч Акилин, у которого назначен был бал, принадлежал к числу помещиков, возбуждающих удивление соседей искусством жить хорошо и открыто при незначительных средствах. Имея не более четырехсот душ крестьян, он принимал всю губернию в огромных, им самим воздвигнутых каменных палатах с колоннами, башней и флагом на башне. Имение это досталось ему от отца и никогда не отличалось благоустройством; Гаврила Степаныч долго находился в отсутствии, служил в Петербурге; наконец, лет пятнадцать тому назад, вернулся он на родину в чине коллежского асессора, с женою и тремя дочерьми, в одно и то же время принялся за преобразования и за постройки, немедленно завел оркестр и начал давать обеды. Сначала все пророчили ему скорое и неминуемое разорение; не раз носились слухи о продаже имения Гаврилы Степаныча с молотка; но годы шли, обеды, балы, пирушки, концерты следовали друг за другом обычной чередой, новые строения, как грибы, вырастали из земли, а имение Гаврилы

Степаныча с молотка все-таки не продавалось, и сам он поживал по-прежнему, даже потолстел в последнее время. Тогда толки соседей приняли другое направление; стали намекать на какие-то важные, будто бы утаенные суммы, заговорили о кладе… «И хотя бы хозяин он был хороший, — так рассуждали дворяне между собою, — а то ведь нет! Нисколько! Вот ведь что удивления достойно и непонятно». Как бы то ни было, но к Гавриле Степанычу все ездили очень охотно: он принимал гостей радушно и в карты играл по какой угодно цене. Это был маленький, седенький человечек с вострой головкой, желтым лицом и желтыми глазами, всегда тщательно выбритый и надушенный одеколоном; он и в будни и в праздники носил просторный синий фрак, застегнутый доверху, большой галстух, в который имел привычку прятать подбородок, и щеголял бельем; он жмурил глаза и вытягивал губы, когда нюхал табак, и говорил весьма приветливо и мягко, с беспрестанными словоериками. С виду Гаврила Степаныч не отличался бойкостью и вообще наружностью не брал и не глядел умницей, хотя по временам в его глазах светилось лукавство. Старших двух дочерей он выгодно пристроил, младшая оставалась еще

в доме невестой. Была у Гаврилы Степаныча и жена, существо незначительное и бессловесное.

Владимир Сергеич в семь часов вечера явился к Ипатовым во фраке и белых перчатках. Он застал уже всех совершенно одетыми; девочки чинно сидели, боясь измять свои беленькие накрахмаленные платьица; старик Ипатов, увидя Владимира Сергеича во фраке, ласково попенял ему и указал на свой сюртук; на Марье Павловне было темно-розовое кисейное платье, которое очень шло к ней. Владимир Сергеич сказал ей несколько любезностей. Красота Марьи Павловны его привлекала, хотя она видимо его дичилась; Надежда Алексеевна ему тоже нравилась, но непринужденность ее обращения его несколько смущала. Притом в ее речах, взглядах, самых улыбках часто высказывалась насмешливость, и это беспокоило его столичную и благовоспитанную душу. Он бы не прочь был подтрунить с нею над другими, но ему неприятно было думать, что она в состоянии, пожалуй, посмеяться над ним самим.

Бал уже начался; гостей собралось довольно много, и доморощенный оркестр трещал, гудел и взвизгивал на хорах, когда семейство Ипатовых вместе с Владимиром Сергеичем вступило в залу

акилинского дома. Хозяин встретил их у самых дверей, поблагодарил Владимира Сергеича за чувствительное доставление приятного сюрприза — так он выразился — и, взяв Ипатова под руку, повел его в гостиную, к карточным столам. Гаврила Степаныч воспитание получил плохое, и всё у него в доме, и музыка, и мебель, и кушанья, и вина, не только не могло назваться первостепенным, но даже и во вторую степень не годилось. Зато всего было вволю, и сам он не ломался, не кичился… Дворяне больше ничего от него и не требовали и оставались совершенно довольны его угощением. За ужином, например, подавали икру, нарезанную в кусочки и сильно посоленную; но никто не мешал брать ее пальцами, и запить ее было чем, правда, дешевеньким, но всё же виноградным вином, а не другим каким-либо напитком. Пружины в мебели Гаврилы Степаныча были действительно несколько беспокойны по причине их неподатливости и тугости; но, не говоря уже о том, что во многих диванах и креслах пружин не было вовсе, всяк мог подложить под себя гарусную подушку, а подобных подушек, вышитых собственными руками супруги Гаврилы Степаныча, лежало везде многое множество — и тогда уже ничего не оставалось желать.

Словом, дом Гаврилы Степаныча пришелся как нельзя более под лад общежительному и бесцеремонному образу мыслей обитателей — го уезда, и единственно скромность г. Акилина была причиною тому, что на дворянских съездах в предводители избирался не он, а отставной майор Подпекин, человек тоже весьма почтенный и достойный, хотя он и зачесывал себе волосы на правый висок из-за левого уха, красил усы в лиловую краску и, страдая одышкой, в послеобеденное время впадал в меланхолию.

Итак, бал уже начался. Танцевали кадриль в десять пар. Кавалерами были офицеры близстоявшего полка, юные, а иные и не совсем юные помещики, два-три чиновника из города. Всё было как следует, всё шло своим порядком. Предводитель играл в карты с отставным действительным статским советником и богатым барином, владельцем трех тысяч душ. Действительный статский советник носил на указательном пальце перстень с алмазом, говорил очень тихо, не раздвигал соединенных каблуков ног своих, поставленных в положение, употребляемое танцорами прежних времен, и не поворачивал головы, до половины закрытой отличнейшим бархатным воротником; богатый

барин, напротив, всё чему-то смеялся, поднимал брови и сверкал белками глаз. Поэт Бодряков, человек вида неуклюжего и дикого, разговаривал в углу с ученым историком Евсюковым; они оба держали друг друга за пуговицы. Возле них один дворянин, с необыкновенно длинной талией, излагал какие-то смелые мнения перед другим дворянином, с робостью смотревшим ему в лоб. Вдоль стен сидели маменьки в пестрых чепцах, у дверей жались господа простого покроя, молодые с смущенными, пожилые с смирными лицами; но всего не опишешь. Повторяем: всё было как следует.

Надежда Алексеевна приехала еще раньше Ипатовых: Владимир Сергеич увидал ее танцующею с молодым человеком красивой наружности, в щегольском фраке, с выразительными глазами, тонкими черными усиками и блестящими зубами; золотая цепочка висела полукругом у него на желудке. На Надежде Алексеевне было голубое платье с белыми цветами; небольшой венок из тех же цветов обвивал ее кудрявую головку; она улыбалась, играла веером, весело посматривала кругом; она чувствовала себя царицей бала. Владимир Сергеич подошел к ней, поклонился и, любезно заглянув ей в лицо, спросил ее, помнит

ли она вчерашнее обещание?

— Какое обещание?

— Ведь вы со мною танцуете мазурку?

— Да, конечно, с вами.

Молодой человек, стоявший рядом с Надеждой Алексеевной, внезапно покраснел.

— Вы, mademoiselle, вероятно, забыли, — начал он, — что вы уже прежде дали мне слово на сегодняшнюю мазурку.

Надежда Алексеевна смешалась.

— Ах, боже мой, как же быть? — заговорила она, — извините меня, пожалуйста, мосьё Стельчинский, я такая рассеянная; мне, право, так совестно…

Мосьё Стельчинский ничего не отвечал и только глаза опустил; Владимир Сергеич слегка приосанился.

— Будьте так добры, мосьё Стельчинский, — продолжала Надежда Алексеевна, — мы ведь с вами старинные знакомые, а мосьё Астахов у нас чужой: не ставьте меня в затруднительное положение, позвольте мне танцевать с ним.

— Как вам угодно, — возразил молодой человек. — Однако вам начинать.

— Благодарствуйте, — промолвила Надежда Алексеевна и порхнула навстречу своему ви-

зави.

Стельчинский глянул ей вслед, потом посмотрел на Владимира Сергеича. Владимир Сергеич в свою очередь посмотрел на него и отошел в сторону.

Кадриль скоро кончилась. Владимир Сергеич походил немного по зале, потом направился в гостиную и остановился у одного из карточных столов. Вдруг он почувствовал, что кто-то сзади прикоснулся к его руке; он обернулся — перед ним стоял Стельчинский.

— Мне нужно с вами в соседнюю комнату на пару слов, если вы позволите, — промолвил он по-французски очень вежливо и с нерусским выговором.

Владимир Сергеич последовал за ним.

Стельчинский остановился у окна.

— В присутствии дамы, — начал он на том же языке, — я не мог сказать ничего другого, как то, что я сказал; но вы, я надеюсь, не думаете, что я действительно намерен уступить вам мое право на мазурку с mademoiselle Veretieff.

Владимир Сергеич изумился.

— Как так? — спросил он.

— Да так же-с, — спокойно отвечал Стельчинский, положил руку за пазуху и раздул ноздри. —

Не намерен, да и только.

Владимир Сергеич тоже положил руку за пазуху, но ноздрей не раздул.

— Позвольте вам заметить, милостивый государь, — начал он, — вы чрез это можете вовлечь mademoiselle Veretieff в неприятность, и я полагаю…

— Мне самому это было бы крайне неприятно, но никто не мешает вам отказаться, объявить себя больным или уехать…

— Я этого не сделаю. За кого вы меня принимаете?

— В таком случае я вынужден буду требовать от вас удовлетворения.

— То есть в каком это смысле… удовлетворения?

— Известно в каком смысле.

— Вы меня вызовете на дуэль?

— Точно так-с, если вы не откажетесь от мазурки.

Стельчинский постарался выговорить эти слова как можно равнодушнее. У Владимира Сергеича сердце екнуло. Он посмотрел своему недуманному-негаданному противнику в лицо. «Фу ты, господи, какая глупость!» — подумал он.

— Вы не шутите? — произнес он громко.

— Я вообще не имею привычки шутить, — ответил с важностью Стельчинский, — и в особенности с людьми, мне незнакомыми. Вы не отказываетесь от мазурки? — прибавил он, помолчав немного.

— Не отказываюсь, — возразил Владимир Сергеич, как бы размышляя.

— Прекрасно! Мы завтра деремся.

— Очень хорошо.

— Завтра поутру мой секундант будет у вас.

И, учтиво поклонившись, Стельчинский удалился, видимо довольный собою.

Владимир Сергеич остался еще несколько мгновений у окна.

«Вот тебе на! — думал он, — вот тебе и новые знакомства! Нужно было приезжать! Хорошо! Славно!»

Однако он, наконец, оправился и вышел в залу.

В зале уже танцевали польку. Перед глазами Владимира Сергеича промелькнула Марья Павловна с Петром Алексеичем, которого он до того мгновения не заметил; она казалась бледной и даже печальной; потом пронеслась Надежда Алексеевна, вся светлая и радостная, с каким-то маленьким, кривоногим, но пламен-

ным артиллеристом; на второй тур она пошла со Стельчинским. Стельчинский, танцуя, сильно встряхивал волосами.

— Что батюшка, — раздался вдруг за спиной Владимира Сергеича голос Ипатова, — только глядите, а сами не танцуете? А признайтесь-ка, даром что у нас, так сказать, затишье, ведь недурно и у нас, ась?

«Хорошо, к чёрту, затишье», — подумал Владимир Сергеич и, пробормотав что-то в ответ Ипатову, отошел в другой угол залы.

«Надо будет секунданта сыскать, — продолжал он свои размышления, — а где его, к чёрту, найти? Веретьева нельзя, других я никого не знаю; чёрт знает что за нелепость такая!»

Владимир Сергеич, когда сердился, любил поминать чёрта.

В это мгновение глаза Владимира Сергеича упали на Складную Душу, Ивана Ильича, стоявшего в бездействии у окна.

«Уж не его ли? — подумал он и, пожав плечами, прибавил почти вслух: — Придется его».

Владимир Сергеич подошел к нему.

— Со мной очень странное происшествие сейчас случилось, — начал наш герой с натянутой улыбкой, — вообразите, меня какой-то

незнакомый молодой человек на дуэль вызвал, отказаться нет никакой возможности, мне необходимо нужен секундант, не хотите ли вы?

Хотя Иван Ильич отличался, как известно, невозмутимым равнодушием, но такое необыкновенное предложение поразило и его. Полный недоумения, уставился он на Владимира Сергеича.

— Да, — повторил Владимир Сергеич, — я бы очень вам был обязан, я здесь ни с кем не знаком. Вы одни…

— Не могу, — промолвил Иван Ильич, словно просыпаясь, — совершенно не могу.

— Отчего же? Вы боитесь неприятностей, но, я надеюсь, всё это останется в тайне…

Говоря эти слова, Владимир Сергеич чувствовал сам, что краснел и смущался.

«Как глупо! Как всё это ужасно глупо!» — мысленно твердил он в то же время.

— Извините меня, никак не могу, — повторил Иван Ильич, замотал головой и попятился, причем опять повалил стул.

В первый раз в жизни ему приходилось отвечать на просьбу отказом, да ведь и просьба же была какова!

— По крайней мере, — продолжал встревожен-

ным голосом Владимир Сергеич, поймав его за руку, — вы уж сделайте одолжение, никому не говорите о том, что я вам сказал, я вас покорнейше прошу об этом.

— Это я могу, это я могу, — поспешно возразил Иван Ильич, — а то не могу, воля ваша, решительно не в состоянии.

— Ну хорошо, хорошо, — промолвил Владимир Сергеич, — но не забудьте, я надеюсь на вашу скромность… Я объявлю завтра этому господину, — пробормотал он про себя с досадой, — что я не мог найти секунданта, пусть он сам распорядится, как знает, я здесь человек чужой. И чёрт меня дернул обратиться к этому господину! Да что же было делать?

Владимиру Сергеичу было очень и очень не по себе.

Между тем бал продолжался. Владимир Сергеич весьма бы желал уехать тотчас, но до конца мазурки нечего было думать об отъезде. Как дать восторжествовать противнику? К несчастью Владимира Сергеича, танцами распоряжался один молодой развязный господин, с длинными волосами и впалой грудью, по которой, в виде маленького водопада, извивался черный атласный галстух, проколотый огромной золотой булавкой.

Молодой этот господин слыл по всей губернии за человека, до тонкости изучившего все обычаи и уставы высшего света, хотя он в Петербурге прожил всего шесть месяцев и выше домов коллежского советника Сандараки и зятя его статского советника Костандараки проникнуть не успел. На всех балах танцами распоряжался он, подавал музыкантам знак хлопаньем в ладоши, посреди воя труб и визга скрипок кричал: «En avant deux!»[2], или: «Grande chaine!»[3], или «A vous, mademoiselle!»[4], и то и дело летал, стремительно скользя и шаркая, по зале, весь бледный и в поту. Мазурку он никогда раньше полуночи не начинал. «И это милость, — говорил он, — я бы вас в Петербурге до двух часов проморил». Длинен показался этот бал Владимиру Сергеичу. Он бродил, как тень, из залы в гостиную, изредка обмениваясь холодными взглядами с своим соперником, не пропускавшим ни одного танца, попросил было Марью Павловну на кадриль, но она уже была приглашена, — и раза два переки-

---

[2] Сноски: 1.2
«Двое вперед!» (*франц.).*

[3] Сноски: 1.3
«Большая цепь!» (*франц.).*

[4] Сноски: 1.4
«Ваша очередь, сударыня!» (*франц.).*

нулся словами с заботливым хозяином, которого, казалось, беспокоила скука, написанная на лице нового гостя. Наконец, загремела желанная мазурка. Владимир Сергеич отыскал свою даму, принес два стула и сел с ней в последних парах, почти напротив Стельчинского.

В первую пару сел, как оно и следовало ожидать, молодой человек, распорядитель. С каким лицом он начал мазурку, как поволок за собой свою даму, как ударял притом ножкой в пол и вздергивал головой — описать всё это едва ли не выше пера человеческого.

— А вы, мосьё Астахов, мне кажется, скучаете? — начала Надежда Алексеевна, внезапно обратись к Владимиру Сергеичу.

— Я? Нисколько. Почему вам это кажется?

— Да так, по выражению вашего лица… Вы, с тех пор как приехали, ни разу не усмехнулись. Я этого от вас не ожидала. Вам, господам положительным людям, нейдет дичиться и хмуриться à la Byron[5]. Предоставьте это сочинителям.

— Я замечаю, Надежда Алексеевна, что вы часто называете меня положительным человеком, как бы в насмешку. Вы, должно быть, считаете меня

---

[5] Сноски: 1.5
по-байроновски (*франц.).*

холоднейшим и благоразумнейшим существом, не способным ни на что такое… А знаете ли, что я вам доложу: положительному человеку часто бывает очень нелегко на сердце, но он не считает нужным выказывать перед другими, что у него там, внутри, происходит; он предпочитает молчать.

— Что вы хотите сказать этим? — спросила Надежда Алексеевна, окинув его взором.

— Ничего-с, — возразил с притворным равнодушием Владимир Сергеич и принял таинственный вид.

— Однако?

— Право, ничего… Когда-нибудь узнаете, после.

Надежда Алексеевна хотела было продолжать свои расспросы, но в это мгновенье девица, хозяйская дочь, подвела к ней Стельчинского и другого кавалера в синих очках.

— Жизнь или смерть? — спросила она ее по-французски.

— Жизнь! — воскликнула Надежда Алексеевна, — я не хочу еще смерти.

Стельчинский наклонился; она пошла с ним.

Кавалер в синих очках, назвавшийся смертью, пошел с хозяйской дочерью. Оба имени были придуманы Стельчинским.

— Скажите, пожалуйста, кто этот господин Стельчинский? — спросил Владимир Сергеич Надежду Алексеевну, как только та возвратилась на свое место.

— Он у губернатора служит, очень любезный молодой человек. Он не здешний. Немножко фат, но это у них всех в крови. Я надеюсь, вы никаких с ним не имели объяснений по поводу мазурки?

— Никаких, помилуйте, — возразил с маленькой запинкой Владимир Сергеич.

— Я такая забывчивая! Вы не можете себе представить!

— Я должен радоваться вашей забывчивости: она доставила мне удовольствие танцевать сегодня с вами.

Надежда Алексеевна посмотрела на него, слегка прищурясь.

— В самом деле? Вам приятно танцевать со мною?

Владимир Сергеич отвечал ей комплиментом. Понемногу он разговорился. Надежда Алексеевна была очень мила всегда и особенно в тот вечер; Владимиру Сергеичу она показалась прелестной. Мысль о завтрашнем поединке, раздражая его нервы, придавала блеск и оживление его речам; под влиянием ее он позволил себе небольшие

преувеличения в выражении чувств своих… «Куда ни шло!» — думал он. Во всех словах его, в подавленных вздохах, в омрачавшихся внезапно взорах проступало что-то таинственное, невольно грустное, что-то изящно-безнадежное. Он, наконец, доболтался до того, что уже начал рассуждать о любви, о женщинах, о своем будущем, о том, как он понимает счастье и чего требует от судьбы… Он изъяснялся иносказательно, намеками. Накануне возможной смерти Владимир Сергеич кокетничал с Надеждой Алексеевной.

Она слушала его внимательно, посмеивалась, качала головой, то соглашалась, то спорила с ним, притворялась недоверчивой… Разговор, часто прерываемый подходившими кавалерами и дамами, принял под конец направление несколько странное… Владимир Сергеич стал уже расспрашивать Надежду Алексеевну о ней самой, об ее характере, об ее симпатиях… Она сперва отшучивалась, потом вдруг, совершенно неожиданно для Владимира Сергеича, спросила его, когда он едет.

— Куда? — проговорил он с изумлением.

— К себе домой.

— В Сасово?

— Нет, домой, в вашу деревню, за сто верст

отсюда.

Владимир Сергеич опустил глаза.

— Хотелось бы поскорей, — промолвил он с озабоченным лицом. — Думаю, завтра… если только жив буду. Ведь у меня дела! Но почему вам вдруг вздумалось спросить меня об этом?

— Так! — возразила Надежда Алексеевна.

— Однако какая причина?

— Так! — повторила она. — Меня удивляет любопытство человека, который едет завтра, а сегодня желает узнать мой характер…

— Но позвольте… — начал было Владимир Сергеич…

— Ах, вот кстати… прочтите, — со смехом перебила его Надежда Алексеевна, протягивая ему билет с конфетки, которую она только что взяла с соседнего столика, а сама поднялась навстречу Марье Павловне, остановившейся перед ней вместе с другой дамой.

Марья Павловна танцевала с Петром Алексеичем. Лицо ее покрылось румянцем, разгорелось, но не повеселело.

Владимир Сергеич взглянул на билет — на нем плохими французскими буквами было напечатано:

Qui me néglige, me perd[6].

Он поднял глаза и встретил взор Стельчинского, устремленный прямо на него. Владимир Сергеич усмехнулся принужденно, облокотился на спинку стула и положил ногу на ногу. «Вот, мол, тебе!»

Пламенный артиллерист примчал Надежду Алексеевну к ее стулу, лихо повертелся с ней пред ним, поклонился, звякнул шпорами и ушел. Она села.

— Позвольте узнать, — начал с расстановкой Владимир Сергеич, — как мне понять этот билет…

— А что бишь на нем стояло, — проговорила Надежда Алексеевна. — Ах, да! Qui me néglige, me perd. Что ж! Это прекрасное житейское правило, которое на каждом шагу может пригодиться. Для того, чтоб успеть в чем бы то ни было, не нужно ничем пренебрегать… Должно добиваться всего: может быть, хоть что-нибудь достанется. Но мне смешно, я… я вам, практическому человеку, толкую о житейских правилах…

Надежда Алексеевна засмеялась, и уже напрас-

---

[6] Сноски: 1.6
Кто мной пренебрегает, меня теряет (*франц.).*

но, до самого конца мазурки, старался Владимир Сергеич возобновить прежний разговор. Надежда Алексеевна уклонялась от него с своенравием прихотливого ребенка. Владимир Сергеич толковал ей о своих чувствах, а она либо не отвечала ему вовсе, либо обращала его внимание на платья дам, на смешные лица иных мужчин, на ловкость, с которой танцевал ее брат, на красоту Марьи Павловны, заговаривала о музыке, о вчерашнем дне, о Егоре Капитоныче и супруге его Матрене Марковне… и только при самом конце мазурки, когда Владимир Сергеич начал с ней раскланиваться, с иронической улыбкой на губах и во взоре проговорила:

— Итак, вы решительно завтра едете?

— Да; и, может быть, очень далеко, — значительно промолвил Владимир Сергеич.

— Желаю вам счастливого пути.

И Надежда Алексеевна быстро приблизилась к своему брату, весело шепнула ему что-то на ухо, потом спросила громко:

— Благодарен мне? Да? Не правда ли? А то бы он *ее* пригласил на мазурку.

Он пожал плечами и промолвил:

— Все-таки ничего из этого не выйдет…

Она увела его в гостиную.

«Кокетка!» — подумал Владимир Сергеич и, взяв шляпу в руку, выскользнул незаметно из залы, сыскал своего лакея, которому он заранее приказал быть наготове, и уже надевал пальто, как вдруг, к крайнему его изумлению, лакей доложил ему, что ехать нельзя, что кучер неизвестно каким образом напился пьян и что разбудить его нет никакой возможности. Выбранив кучера необыкновенно кратко, но чрезвычайно сильно (дело происходило в передней, посторонние свидетели присутствовали) и объявив лакею, что если завтра чуть свет кучер не будет в исправности, то никто в мире не в состоянии себе представить, что из этого может выйти, Владимир Сергеич вернулся в залу и попросил дворецкого отвести ему комнатку, не дожидаясь ужина, уже приготовляемого в гостиной. Хозяин дома вдруг словно вырос из-под полу возле самого локтя Владимира Сергеича (Гаврила Степаныч носил сапоги без каблуков и потому двигался безо всякого шума) и начал его удерживать, уверяя, что за ужином будет икра первый сорт; но Владимир Сергеич отговорился головною болью. Полчаса спустя он уже лежал на небольшой кроватке, под коротким одеялом, и силился заснуть.

Но ему не спалось. Как ни ворочался он с боку

на бок, как ни старался он думать о чем-нибудь другом, фигура Стельчинского неотвязно торчала пред ним… Вот он целится… вот он выстрелил… «Убит Астахов», — говорит кто-то. Владимир Сергеич не мог назваться храбрецом, да и трусом он не был; но даже мысль о поединке с кем бы то ни было никогда ему в голову не приходила… Драться! С его благоразумием, мирными наклонностями, уважением приличий, мечтами о будущем благосостоянии и о выгодной партии! Если бы дело шло не о собственной особе, он бы расхохотался, до того нелепа и смешна казалась ему вся эта история. Драться! С кем и за что?!

— Тьфу ты, чёрт! Что за вздор! — восклицал он невольно вслух. — Ну, а если он точно убьет меня, — продолжал он свои размышления, — надо, однако, принять свои меры, распорядиться… Кто-то пожалеет обо мне?

И он с досадой закрывал свои широко раскрытые глаза, натягивал одеяло на шею… но все-таки заснуть не мог…

Заря уже брезжила на небе, и, утомленный лихорадкой бессонницы, Владимир Сергеич начинал впадать в дремоту, как вдруг почувствовал какую-то тяжесть на ногах. Он открыл глаза… На его постели сидел Веретьев.

Владимир Сергеич изумился чрезвычайно, особенно когда заметил, что на Веретьеве не было сюртука, что у него из-под расстегнутой рубашки выказывалась обнаженная грудь, волосы падали на лоб и само лицо казалось измененным. Владимир Сергеич приподнялся в постели…

— Позвольте спросить… — начал он, расставив руки.

— Я к вам пришел, — заговорил Веретьев сиплым голосом, — извините меня, в таком виде… Мы там немного выпили… Я желал вас успокоить. Я сказал себе: там лежит джентльмен, которому, вероятно, не спится. Поможем ему. Внемлите: вы не деретесь завтра и можете спать…

Владимир Сергеич изумился еще более.

— Что вы такое сказали? — пробормотал он.

— Да; всё это улажено, — продолжал Веретьев, — этот господин с берегов Вислы… Стельчинский… извиняется перед вами… завтра вы получите письмо… Повторяю вам: всё кончено… Храпите!

И, сказавши эти слова, Веретьев встал и направился неверными шагами к двери.

— Но позвольте, позвольте, — начал Владимир Сергеич. — Как вы могли узнать и почему я могу поверить…

Веретьев посмотрел на него.

— Ах! Вы думаете, что я… того… (и он слегка качнулся вперед)… Говорят вам… он к вам завтра письмо пришлет… Вы не возбуждаете во мне особенной симпатии, но великодушие моя слабая сторона. Да и что тут толковать… Ведь это всё такие пустяки… А признайтесь, — прибавил он, подмигнув глазом, — вы-таки струхнули, а?

Владимир Сергеич рассердился.

— Позвольте, наконец, милостивый государь… — промолвил он.

— Ну хорошо, хорошо, — перебил его Веретьев с добродушной улыбкой. — Не горячитесь. Ведь вы не знаете, у нас без этого ни одного бала не бывает… Это уж так заведено. Последствий это никогда никаких не имеет. Кому охота подставлять свой лоб? Ну, а почему же не покуражиться, а? Над приезжим, например? In vino veritas[7]. А впрочем, ни вы, ни я, мы не знаем по-латыни. Однако я вижу по вашей фигуре, что вы хотите спать. Спокойной ночи желаю вам, господин положительный человек, благонамеренный смертный. Примите это пожелание от другого смертного, который сам гроша медного не стоит.

---

[7] Сноски: 1.7
Истина в вине (*лат.).*

Addio, mio caro![8]

И Веретьев вышел вон.

— Это чёрт знает что такое! — воскликнул немного погодя Владимир Сергеич и ударил кулаком в подушку, — это просто ни на что не похоже!.. Это надо будет объяснить! Я этого не потерплю!

Со всем тем пять минут спустя он уже спал кротким и крепким сном. Ему на сердце стало легче... Минувшая опасность наполняет сладостью и смягчает дух человека.

Вот что происходило перед неожиданным ночным свиданием Веретьева и Владимира Сергеича.

У Гаврилы Степаныча жил в доме троюродный его племянник и занимал в нижнем этаже дома холостую квартиру. Когда случались балы, молодые люди, в промежутках танцев, забегали к нему покурить наскоро Жукова,{20} а после ужина собирались у него же для дружеской попойки. В ту ночь к нему нашло довольно много гостей. Стельчинский и Веретьев были в числе их; Иван

---

[8] Сноски: 1.8

Прощай, мой дорогой! (*Итал.)*

{20} Комментарии: 2.20

...покурить наскоро Жукова... — Речь идет о табаке, вырабатывавшемся на знаменитой в 40-х и 50-х годах XIX века фабрике В. Г. Жукова.

Ильич Складная Душа тоже приплелся туда вслед за другими. Сделали жженку. Хотя Иван Ильич обещал Астахову не говорить никому о предстоявшем поединке, однако, когда Веретьев случайно спросил его, о чем он рассуждал с этим кисляем (Веретьев иначе не называл Астахова), Складная Душа не вытерпел и повторил весь свой разговор с Владимиром Сергеичем от слова до слова.

Веретьев засмеялся, потом задумался.

— Да с кем он дерется? — спросил он.

— А этого я сказать не могу, — возразил Иван Ильич.

— По крайней мере с кем он разговаривал?

— С разными лицами… С Егором Капитонычем. Уж не с ним ли он дерется?

Веретьев отошел от Ивана Ильича.

Итак, сделали жженку, начали пить. Веретьев сидел на самом видном месте; веселый и разгульный, он первенствовал в собраньях молодежи. Он сбросил сюртук и галстух. Его попросили петь, он взял гитару и спел несколько песен. Головы понемногу разгорячились; молодежь принялась провозглашать тосты. Стельчинский вскочил вдруг, весь красный, на стол и, высоко подняв над головою стакан, воскликнул громко:

— За здоровье… уж я знаю кого, — подхватил

он торопливо, выпил вино, разбил стакан о пол и прибавил: — Пускай же завтра точно так же разлетится вдребезги мой враг!

Веретьев, который уже давно наблюдал за ним, быстро поднял голову…

— Стельчинский, — промолвил он, — во-первых, сойди со стола: это неприлично, да у тебя же и сапоги прескверные, а во-вторых, поди-ка сюда, я тебе что-то сообщу.

Он отвел его в сторону.

— Послушай, брат, ты, я знаю, дерешься завтра с этим джентльменом из Петербурга.

Стельчинский дрогнул.

— Как… кто тебе сказал?

— Я тебе говорю. И мне также известно, за кого ты дерешься.

— А именно? Это любопытно знать.

— Ах ты, Талейран{21} этакой! Да, разумеется, за мою сестру. Ну, ну, не притворяйся удивленным. Это придает тебе гусиное выражение. Не могу представить, как это у вас там вышло, но только это верно. Полно, брат, — продолжал Веретьев, — к чему тут прикидываться? Ведь я знаю, ты за ней

{21} Комментарии: 2.21

Талейран — французский политический деятель и дипломат (1754–1838), прославившийся проницательностью, хитростью и умением скрывать свои мысли. Имя его стало нарицательным.

давно ухаживаешь.

— Да все-таки это не доказывает…

— Перестань, пожалуйста. Но послушай-ка, что я теперь тебе скажу. Я этого поединка ни под каким видом не допущу. Понимаешь? Вся эта глупость обрушится на сестру. Извини: пока я жив… этому не бывать. Мы с тобой пропадем — туда и дорога, а ей еще долго надо жить и жить счастливо. Да, клянусь, — прибавил он с внезапным жаром, — всех других выдам, даже тех, которые были бы готовы всем пожертвовать для меня, а у ней волоска никому тронуть не позволю.

Стельчинский принужденно захохотал.

— Ты пьян, любезный, и бредишь… вот и всё.

— А ты небось нет? Но пьян ли я, нет ли, это совершенно всё равно. А говорю я дело. Не будешь ты драться с этим барином, за это я ручаюсь. И охота была тебе с ним связываться! Приревновал, что ли? Вот правду говорят, что влюбленные люди глупы! Да она и танцевала-то с ним для того только, чтоб он не вздумал пригласить… Ну, да не об этом дело. А дуэли этой не бывать.

— Гм! Желал бы я посмотреть, как ты мне помешаешь?

— А так же вот, что если ты сейчас не дашь мне слова отказаться от этой дуэли, я сам с тобой

драться буду.

— Будто?

— Милый мой, не сомневайся в этом. Оскорблю тебя, дружище, сейчас же, при всех, самым фантастическим образом, и потом хоть через платок.{22} А я думаю, это тебе будет неприятно по многим причинам, ась?

Стельчинский вспыхнул, начал говорить, что это *интимидация*[9], что он никому не позволит вмешиваться в его дела, что он не посмотрит ни на что… и кончил тем, что покорился и отказался от всяких покушений на жизнь Владимира Сергеича. Веретьев его обнял, и не прошло еще полчаса, как уж оба они в десятый раз пили Brüderschaft, то есть пили, запустив рука за руку…

Юноша-распорядитель

{22} Комментарии: 2.22

Оскорблю тебя ~ и потом хоть через платок. — Речь идет о том, что Веретьев предложит Стельчинскому дуэль на самых жестких условиях, при которых расстояние между противниками определяется длиной носового платка по диагонали. Так в «Коварстве и любви» Шиллера Фердинанд подает своему сопернику пистолет и, вынимая носовой платок, говорит: «Нате! Держите платок! <…> *Гофмаршал.* Через платок? Вы с ума сошли! <…> *Фердинанд.* Держи тот конец, тебе говорят! Иначе ты промахнешься, трус!» (1784, д. 4, явл. 3). Дуэль через платок входила в кодекс чести бретерствующих героев псевдо-романтического толка вплоть до конца XIX в. Подобного героя Тургенев изобразил в рассказе «Чертопханов и Недопюскин» (1849). Чертопханов кричит своему обидчику: «Стреляться, стреляться, сейчас стреляться через платок» (наст. изд., т. 3, с. 285). В «Братьях Карамазовых» (1880) Федор Павлович, паясничая, угрожает вызвать на дуэль через платок своего сына Митю (см.: *Достоевский,* т. 14, с. 68). Подробно об этой форме

дуэли см.: Швейковский П. А. Суд чести и Дуэль в Российской армии. 3-е изд. СПб., 1912, с. 165.

[9] Сноски: 1.9

От *франц.* intimidation — запугивание.

также выпил Brüderschaft с ними и сперва не отставал от них, но заснул наконец самым невинным образом и долго лежал на спине в состоянии совершенного бесчувствия… Выражение его маленького побледневшего личика было и забавно и жалко… Боже! Что сказали бы светские дамы, его знакомые, если б увидели его в таком уничижении! Но, к его счастью, он не знал ни одной светской дамы.

Иван Ильич также отличился в ту ночь. Сперва он удивил гостей, внезапно затянув: «В деревне некогда барон».

— Щур! Щур запел! — закричали все, — когда это бывает, чтобы щур пел по ночам!

— Да будто я одну только песню знаю, — возразил разгоряченный вином Иван Ильич, — я умею и другие.

— Ну, ну, ну, покажи нам свое искусство.

Иван Ильич помолчал и вдруг начал басом: «Крамбамбули, отцов наследье»,{23} но так нескладно и странно, что общий взрыв хохота тотчас заглушил его голос, и он умолк.

Когда все разошлись, Веретьев отправился к

{23} Комментарии: 2.23

«Крамбамбули, отцов наследье»… — Цитата из немецкой студенческой песни, перевод которой приписывается Н. М. Языкову (см.: Языков Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л.: Academia, 1934, с. 795–796).

Владимиру Сергеичу, и между ними произошел непродолжительный, уже упомянутый разговор.

На другой день Владимир Сергеич уехал очень рано к себе в Сасово. Целое утро провел он в волнении, чуть было не принял приезжего купца за секунданта и отдохнул только тогда, когда лакей принес ему письмо от Стельчинского. Владимир Сергеич несколько раз прочел это письмо — оно очень было ловко написано... Стельчинский начинал со слов: La nuit porte conseil, monsieur[10], — ни в чем не извинялся, потому что, по его мнению, он своего противника ничем не оскорбил: впрочем, сознавался, что накануне излишне погорячился, и кончил объявлением, что состоит в полном распоряжении господина Астахова (de m-r Astakhof), но сам уже удовлетворения более не желает. Сочинив и отправив ответ, исполненный в одно и то же время вежливости, доходившей до игривости, и чувства достоинства, в котором, однако, не замечалось ничего хвастливого, Владимир Сергеич сел за обед, потирая руки, с великим удовольствием покушал и тотчас же после стола отправился восвояси, не выслав даже подставы вперед. До-

[10] Сноски: 1.10
Утро вечера мудренее, сударь (*франц.).*

рога, по которой он ехал, проходила верстах в четырех от усадьбы Ипатова… Владимир Сергеич посмотрел на нее…

— Прощай, затишье! — молвил он с усмешкой.

Образы Надежды Алексеевны и Марьи Павловны предстали на мгновение его воображенью; он махнул рукой, отворотился и задремал.

VI

Прошло три месяца с лишком. Осень уже давно наступила; пожелтевшие леса обнажались, синицы прилетели, и, верный признак близости зимы, ветер начинал завывать и ныть. Но дождей больших еще не бывало, и грязь на дорогах не успела раствориться. Пользуясь этим обстоятельством, Владимир Сергеич отправился для окончания некоторых дел в губернский город. Утро он провел в разъездах, а вечером поехал в клуб. В огромной мрачной зале клуба встретил он несколько знакомых и между прочими старого отставного ротмистра Флича, всем известного дельца, остряка, картежника и сплетника. Владимир Сергеич вступил с ним в разговор.

— Ах, кстати, — воскликнул вдруг отставной ротмистр, — на днях здесь проезжала одна ваша знакомая, кланяться вам велела.

— Какая это знакомая?

— Стельчинская.

— Я ни с одной Стельчинской не знаком.

— Вы ее в девушках знавали… Она урожденная Веретьева… Надежда Алексеевна. Муж ее у на-

шего губернатора служил. Вы его тоже, должно быть, видали… Живчик такой, с усиками… Славную штучку подцепил, и с состояньем.

— Вот как, — проговорил Владимир Сергеич. — Так она за него вышла… Гм! А куда ж это они уехали?

— В Петербург. Она еще вам напомнить велела про какой-то билетик с конфетки… Что это был за билетик, позвольте полюбопытствовать?

И старый сплетник так и выставил вперед свой острый нос.

— Не помню, право, шутка какая-нибудь, — возразил Владимир Сергеич. — А позвольте узнать, где теперь ее брат?

— Петр? Ну, тому плохо.

Господин Флич возвел кверху свои маленькие, лисьи глазки и вздохнул.

— А что? — спросил Владимир Сергеич.

— Загулял! Пропал человек.

— А где он теперь?

— Совершенно неизвестно где. Уехал куда-нибудь за цыганками, это вернее всего. В губернии его нет, за это я ручаюсь.

— А Ипатов-старик, всё там же живет?

— Михаил Николаич? Чудачок-то? Всё там же.

— И всё у него в доме… по-прежнему?

— Как же, как же. Вот что бы вам жениться на его свояченице? Ведь это не женщина, это просто монумент, право. Хе, хе. У нас уж и поговаривали… что, мол, дескать…

— Вот как-с, — промолвил, прищурив глаза, Владимир Сергеич.

В это мгновенье Фличу предложили партию, и разговор прекратился.

Владимир Сергеич располагал возвратиться домой скоро, но вдруг получил с нарочным донесение от старосты, что в Сасове сгорело шесть дворов, и решился сам туда съездить. От губернского города до Сасова считалось верст шестьдесят. Владимир Сергеич прибыл в знакомый уже читателю флигелек к вечеру, тотчас же велел призвать старосту и земского, побранил их как следует, осмотрел утром место пожара, принял надлежащие меры и после обеда, поколебавшись немного, отправился в гости к Ипатову. Владимир Сергеич остался бы дома, если б не услыхал от Флича об отъезде Надежды Алексеевны; ему не хотелось с ней встречаться, но он был не прочь взглянуть еще раз на Марью Павловну.

Владимир Сергеич застал, как и в первое свое посещение, Ипатова за шашками с Складною Душою. Старик ему обрадовался; Владимиру

Сергеичу показалось, однако, лицо его озабоченным, и речь его не лилась свободно и охотно, как прежде.

С Иваном Ильичом Владимир Сергеич переглянулся молча. Обоих их немножко покоробило; впрочем, они скоро успокоились.

— Все ваши здоровы? — спросил Владимир Сергеич, усаживаясь.

— Все, славу богу, покорнейше благодарю, — ответил Ипатов. — Одна Марья Павловна не совсем… того, всё больше в своей комнате находится.

— Простудилась?

— Нет… так. К чаю явится.

— А Егор Капитоныч? Что он поделывает?

— Ах! Егор Капитоныч убитый человек. У него жена умерла.

— Не может быть!

— В сутки умерла, от холеры. Вы бы не узнали его теперь, просто на себя не похож стал. «Без Матрены Марковны, говорит, жизнь мне в тягость. Умру, говорит, и славу богу, говорит; не желаю, говорит, жить». Да, пропал бедняк.

— Ах, боже мой, как это неприятно! — воскликнул Владимир Сергеич. — Бедный Егор Капитоныч!

Все помолчали.

— Ваша соседка, я слышал, замуж вышла, — заговорил Владимир Сергеич, слегка покраснев.

— Надежда Алексеевна? Да, вышла.

Ипатов косвенно посмотрел на Владимира Сергеича.

— Как же… как же, вышла и уж уехала.

— В Петербург?

— В Санкт-Петербург.

— Марья Павловна, я думаю, скучает по ней? Кажется, она очень с ней была дружна.

— Конечно, скучает. Без этого нельзя. А впрочем, что до дружества касается, скажу вам, девичья дружба еще хуже мужской. Пока на глазах, хорошо, а то и поминай как звали.

— Вы думаете?

— Да, ей-богу так. Вот хоть бы Надежда Алексеевна. Как уехала, ни одного письма к нам не написала, а ведь как обещалась, божилась даже. Правда, ей теперь не до того.

— А давно она уехала?

— Да, уж недель шесть будет. На другой же день после свадьбы ускакала, по-иностранному.

— Говорят, и брата ее тоже здесь нет? — проговорил Владимир Сергеич немного погодя.

— Да, тоже. Ведь они люди столичные, станут

они долго в деревне жить!

— И неизвестно, куда он уехал?

— Неизвестно.

— Пощебелил, да и за щеку,{24} — заметил Иван Ильич.

— Пощебелил, да и за щеку, — повторил Ипатов. — Ну, а вы, Владимир Сергеич, что поделывали хорошенького? — прибавил он, оборотясь на стуле.

Владимир Сергеич начал рассказывать о себе. Ипатов его слушал, слушал и воскликнул наконец:

— Да что ж это Маша нейдет? Иван Ильич, ты бы сходил за ней.

Иван Ильич отправился вон из комнаты и, вернувшись, объявил, что Марья Павловна сейчас придет.

— Что, у ней голова болит? — спросил Ипатов вполголоса.

{24} Комментарии: 2.24

Пощебелил, да и за щеку… — По-видимому, орловская поговорка. Смысл глагола «щебелить» раскрыт самим Тургеневым в письме к Я. П. Полонскому от 20 февраля (4 марта) 1868 г. Имея в виду длинноты в романе Гончарова «Обрыв», Тургенев писал: «Так щебелить, и за щеку класть, и опять выкладывать, и опять жевать…».

Во французском переводе (*1858, Scènes, II)* комментируемая фраза переведена следующим образом: Il fait comme le singe, dit Bodriakof, — la noisette mangée, il a jeté la coquille. (Он поступает как обезьяна, — сказал Бодряков, — съев орех, выбросил скорлупу.)

— Болит, — ответил Иван Ильич.

Дверь раскрылась, и вошла Марья Павловна. Владимир Сергеич встал, поклонился и от изумления не мог произнесть слова: так изменилась Марья Павловна с тех пор, как он ее видел в последний раз! Румянец исчез с ее похудевших щек; широкая черная кайма окружила ее глаза; горько сжались губы, всё лицо ее, неподвижное и темное, казалось окаменелым.

Она подняла глаза, и в них не было блеску.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил ее Ипатов.

— Я здорова, — отвечала она и села к столу, на котором уже кипел самовар.

Владимир Сергеич порядком-таки поскучал в тот вечер. Да и все были не в духе. Разговор принимал всё такой невеселый оборот.

— Ведь вишь, — сказал, между прочим, Ипатов, прислушиваясь к завываньям ветра, — какие ноты выводит! Лето-то уж давно прошло; вот и осень проходит, вот и зима на носу. Опять завалит кругом сугробами. Хоть бы поскорее снег выпал. А то в сад выйдешь, тоска нападет… Словно развалина какая-то. Деревья ветками стучат… Да, прошли красные дни!

— Прошли, — повторил Иван Ильич.

Марья Павловна молча посмотрела в окно.

— Бог даст, вернутся, — заметил Ипатов.

Никто не отозвался ему.

— А помните, как здесь тогда хорошо песни пели? — сказал Владимир Сергеич.

— Мало ли чего! — вздохнув, ответил старик.

— Но вы бы могли, — продолжал Владимир Сергеич, обращаясь к Марье Павловне, — у вас такой прекрасный голос.

Она не ответила ему.

— А что ваша матушка? — спросил Владимир Сергеич Ипатова, не зная уже, о чем вести разговор.

— Слава богу, перебивается помаленьку при своих недугах. Еще сегодня в колясочке каталась. Она, доложу вам, как надломленное дерево, скрып да скрып, и глядишь, иное молодое, крепкое повалится, а оно всё стоит да стоит. Эх, хе, хе!

Марья Павловна уронила руки на колени и наклонила голову.

— А всё же плохое ее житье, — заговорил опять Ипатов, — справедливо сказано: «Старость не радость».

— А молодость не в радость, — промолвила Марья Павловна словно про себя.

Владимир Сергеич хотел было вернуться на

ночь домой, но такая сделалась на дворе темнота, что он не решился ехать. Ему отвели ту же комнату наверху, в которой он три месяца тому назад провел беспокойную ночь по милости Егора Капитоныча…

«Храпит ли он теперь?» — подумал Владимир Сергеич и вспомнил его наставления слуге, вспомнил внезапное появленье Марьи Павловны в саду…

Владимир Сергеич подошел к окну и приложился лбом к холодному стеклу. Его собственное лицо тускло глянуло на него с надворья, словно в черную завесу уперлись его глаза, и только спустя немного времени мог он различить на беззвездном небе ветки деревьев, порывисто крутившиеся среди мрака. Их тормошил неугомонный ветер.

Вдруг Владимиру Сергеичу показалось, будто что-то белое промелькнуло по земле… Он всмотрелся, усмехнулся, пожал плечами и, воскликнув вполголоса: «Что значит воображенье!», лег в постель.

Он заснул очень скоро, но и в этот раз не было ему суждено провести спокойную ночь. Его разбудила беготня, поднявшаяся в доме… Он отделил от подушки голову… Слышались смятенные голоса,

восклицания, торопливые шаги, двери хлопали, вот раздался женский плач, крики поднялись в саду, другие крики отозвались дальше… Тревога в доме росла, становилась шумнее с каждым мгновением… «Пожар!» — мелькнуло в уме Владимира Сергеича. Он трухнул, вскочил с кровати и бросился к окну; но зарева не было, только в саду проворно двигались по дорожкам, мимо деревьев, красные огненные точки — то бегали люди с фонарями. Владимир Сергеич подошел быстро к двери, отворил ее и наткнулся прямо на Ивана Ильича. Бледный, растрепанный, полураздетый, он мчался сам не зная куда.

— Что такое? Что случилось? — спросил с волнением Владимир Сергеич, сильно схватив его за руку.

— Пропала, утопла, в воду бросилась, — ответил Иван Ильич задыхавшимся голосом.

— Кто в воду бросился, кто пропал?

— Марья Павловна! Кому же, как не Марье Павловне! Погубил он ее, сердешную! Помогите! Батюшки, побежимте скорее! Голубчики, скорее!

И Иван Ильич ринулся вниз по лестнице.

Владимир Сергеич кое-как надел сапоги, накинул шинель на плечи и пустился вслед за ним.

В доме он уже никого не встретил, все выскочи-

ли в сад; одни только девочки, дочери Ипатова, попались ему в коридоре, возле передней; помертвев от испуга, стояли они в своих белых юбочках, с сжатыми руками и голыми ножками, возле ночника, поставленного на полу. Через гостиную, мимо опрокинутого стола, выбежал Владимир Сергеич на террасу. Сквозь чащу, по направлению к плотине, мелькали огни, тени…

— За баграми! Скорее за баграми! — слышался голос Ипатова.

— Невод, невод, лодку! — кричали другие голоса.

Владимир Сергеич побежал на крик. Он нашел Ипатова на берегу пруда; фонарь, повешенный на суку, ярко освещал седую голову старика. Он ломал руки и шатался как пьяный; возле него женщина, лежа на траве, билась и рыдала; кругом суетились люди. Иван Ильич уже вошел по колена в воду и щупал дно шестом; кучер раздевался, дрожа всем телом; два человека тащили вдоль берега лодку; слышался резкий топот копыт по улице деревни… Ветер несся с визгом, как бы силясь задуть фонари, а пруд плескал и шумел, чернея грозно.

— Что я слышал, — воскликнул Владимир Сергеич, подбегая к Ипатову, — возможно ли?

— Багры, давайте багры! — простонал старик ему в ответ…

— Да вы, может быть, ошибаетесь, помилуйте; Михаил Николаевич.

— Нет! Какое ошибается! — заговорила слезливым голосом женщина, лежавшая на траве, горничная Марьи Павловны, — сама я, окаянная, слышала, как она, голубушка моя, в воду бросилась, как билась в воде, как закричала: спасите, а там еще разочек: спасите!

— Как же ты не помешала ей, помилуй!

— Да как, батюшка, сударик мой, помешать? Ведь я когда ее хватилась, то уж ее в комнате не было, а мое сердечко, знать, чуяло, последние-то денечки она всё так тосковала и не говорила ничего; да уж я знала, я прямо так в сад и побежала, словно надоумил меня кто, слышу, вдруг бултых что-то в воду: спасите, слышу, кричит… спасите… Ох, голубчики мои! Ох, светики мои!

— Да тебе, может быть, так почудилось?

— Какое почудилось! Да и где она? Куда девалась?

«Так вот что мне показалось белое в темноте», — подумал Владимир Сергеич…

Между тем прибежали люди с баграми, притащили невод, стали расстилать его на траве,

народу набралось пропасть, суета поднялась, толкотня… кучер схватил один багор, староста — другой, оба вскочили в лодку, отчалили и принялись искать баграми в воде; с берега светили им. Странны и страшны казались движения их и их теней во мгле над взволнованным прудом, при неверном и смутном блеске фонарей.

— Во… вот зацепил, — закричал вдруг кучер.

Все так и замерли на месте.

Кучер потянул к себе багор, нагнулся… Что-то рогатое, черное медленно всплыло…

— Коряга, — проговорил кучер и отдернул багор.

— Да вернись, вернись, — закричали с берега, — баграми ничего не сделаешь, надо неводом.

— Да, да, неводом, — подхватили другие.

— Стойте, — промолвил староста, — и я зацепил… что-то, кажись, мягкое, — прибавил он погодя немного.

Белое пятно показалось возле лодки…

— Барышня! — вдруг крикнул староста. — Она!

Он не ошибся… Багор зацепил Марью Павловну зарукав ее платья. Кучер ее тотчас подхватил, вытащил из воды… в два сильных толчка лодка очутилась у берега… Ипатов, Иван Ильич, Владимир Сергеич — все, бросились к Марье Павловне,

подняли ее, понесли на руках домой, тотчас раздели ее, начали ее откачивать, согревать… Но все их усилия, их старания остались тщетными… Марья Павловна не пришла в себя… Жизнь уже ее покинула.

Владимир Сергеич, на другой день рано, оставил Ипатовку; перед отъездом он пошел проститься с покойницей. Она лежала на столе в гостиной, в белом платье… Густые ее волосы еще не совсем высохли, какое-то скорбное недоумение выражалось на ее бледном лице, не успевшем исказиться; раскрытые губы, казалось, силились заговорить и спросить что-то… стиснутые крестнакрест руки как бы с тоской прижимались к груди… Но с какой бы горестною мыслью ни погибла бедная утопленница, смерть наложила на нее печать своего вечного безмолвия и смирения… И кто поймет, что выражает мертвое лицо в те немногие мгновения, когда оно в последний раз встречает взгляд живых перед тем, чтобы навсегда исчезнуть и разрушиться в могиле?

Владимир Сергеич постоял с приличной задумчивостью перед телом Марьи Павловны, перекрестился три раза и вышел, не заметив Ивана Ильича, тихо плакавшего в уголке… И не один он плакал в тот день, вся прислуга в доме

плакала горько: Марья Павловна оставила по себе добрую память.

Через неделю вот что писал старик Ипатов в ответ на пришедшее, наконец, письмо от Надежды Алексеевны:

«За неделю перед сим, милостивая государыня Надежда Алексеевна, несчастная свояченица моя, ваша знакомая, Марья Павловна, самовольно кончила жизнь свою, бросившись ночью в пруд, и мы уже предали земле ее тело. Она решилась на сей горестный и ужасный поступок, не простившись со мною, не оставив даже письма или хотя бы записочки для изъявления своей последней воли… Но вам лучше всех известно, Надежда Алексеевна, на чью душу должен пасть этот великий и смертный грех! Суди господь бог вашего братца, а моя свояченица не могла ни разлюбить, ни пережить разлуку…»

Надежда Алексеевна получила это письмо уже в Италии, куда она уехала с своим мужем, графом де Стельчинским, как его величали во всех гостиницах. Впрочем, он посещал не одни гостиницы; его часто видали в игорных домах, в курзалах на водах… Он сперва проигрывал много денег, потом перестал проигрывать, и лицо его приняло особое выражение, не то подозрительное, не то дерзкое,

какое бывает у человека, с которым совершенно неожиданным образом случаются истории… С женой он видался редко. Впрочем, Надежда Алексеевна не скучала в его отсутствие. В ней проявилась страсть к искусствам и художествам. Она всё больше зналась с артистами и любила рассуждать о прекрасном с молодыми людьми. Письмо Ипатова огорчило ее чрезвычайно, но не помешало ей в тот же день поехать в «Собачью пещеру» — посмотреть, как задыхаются бедные животные, погруженные в серные пары.

Она поехала не одна. Ее сопровождали разные кавалеры. В числе их самым любезным считался некто г. Попелен, неудавшийся живописец из французов, с бородкой и в клетчатой куртке. Он пел жиденьким тенором новейшие романсы, острил весьма развязно, и хотя сложенья был худощавого, однако кушал весьма много.

VII

Был солнечный морозный январский день: на Невском гуляло множество народа. Часы на башне Думы показывали три часа. По широким плитам, усеянным желтым песочком, шел между прочими старинный наш знакомый, Владимир Сергеич Астахов. Он очень возмужал с тех пор, как мы расстались с ним, обложился бакенбардами и пополнел во всем корпусе, но не постарел. Он подвигался за толпой, не торопясь и изредка посматривая кругом: он ожидал жену свою; она вместе с своею матерью хотела подъехать в карете. Владимир Сергеич уже лет пять как женился, именно так, как всегда желал: жена его была богата и с самыми лучшими связями. Приветливо приподнимая превосходно вычищенную шляпу при встрече с многочисленными знакомыми, Владимир Сергеич продолжал выступать свободною поступью довольного судьбою человека, как вдруг, около самого Пассажа, на него чуть не наткнулся какой-то господин, в испанском плаще и фуражке, с лицом, уже порядком изношенным, крашеными усами и большими, слегка

заплывшими глазами. Владимир Сергеич с достоинством посторонился, но господин в фуражке посмотрел на него и вдруг воскликнул:

— А! Господин Астахов, здравствуйте!

Владимир Сергеич ничего не отвечал и остановился в изумлении. Он не мог понять, каким образом господин, решившийся идти по Невскому в фуражке, знал его фамилию.

— Вы меня не узнаёте? — продолжал господин в фуражке. — Я видел вас лет восемь тому назад, в деревне, в Т-ской губернии, у Ипатовых. Меня зовут Веретьевым.

— Ах! Боже мой! Извините меня! — воскликнул Владимир Сергеич, — но как вы изменились с тех пор…

— Да, я постарел, — возразил Петр Алексеич и провел по лицу рукою, на которой не было перчатки, — а вот вы не изменились.

Веретьев не столько постарел, сколько осунулся и опустился. Мелкие, тонкие морщины покрыли его лицо, и когда он говорил, его губы и щеки слегка подергивало. По всему заметно было, что сильно пожил человек.

— Где вы всё это время пропадали, что вас не было видно? — спросил его Владимир Сергеич.

— Скитался кой-где. А вы всё в Петербурге на-

ходились?

— Большей частью в Петербурге.

— Женаты?

— Женат.

И Владимир Сергеич принял несколько строгий вид, как бы желая сказать Веретьеву: «Ты, братец, не вздумай просить меня, чтобы я представил тебя моей жене».

Веретьев, казалось, понял его. Равнодушная усмешка чуть тронула его губы.

— А что ваша сестрица? — спросил Владимир Сергеич. — Где она?

— Не могу вам сказать наверное. Должно быть, в Москве. Я давно от нее писем не получал.

— Супруг ее жив?

— Жив.

— А сам господин Ипатов?

— Не знаю; вероятно, тоже жив, а может, и умер.

— А тот господин, как бишь его, Бодряков, что ли?

— Тот-то, кого вы в секунданты себе просили, помните, когда вы так струсили? А чёрт его знает!

Владимир Сергеич помолчал с важностью на лице.

— Я всегда с удовольствием вспоминал те вечера, — продолжал он, — когда я имел случай (он чуть было не сказал: честь) познакомиться с вашей сестрицей и с вами. Она очень любезная особа. Что, вы всё так же приятно поете?

— Нет, голос пропал… Да, хорошее тогда было время!

— Я еще раз посетил потом Ипатовку, — прибавил Владимир Сергеич, приподняв печально брови, — ведь так, кажется, звали ту деревню, — в самый день одного страшного события…

— Да, да, это ужасно, это ужасно, — торопливо перебил его Веретьев. — Да, да. А помните, как вы чуть было не подрались с моим теперешним зятем?

— Гм! Помню! — возразил с расстановкой Владимир Сергеич. — Впрочем, я должен вам признаться, столько времени с тех пор прошло, мне иногда всё это представляется как сон какой-то…

— Как сон, — повторил Веретьев, и его бледные щеки покраснели, — как сон… нет, это не был сон, по крайней мере для меня. Это было время молодости, веселости и счастья, время бесконечных надежд и сил неодолимых, и если это был сон, так сон прекрасный. А вот что мы теперь с вами постарели, поглупели, да усы красим, да шляемся

по Невскому, да ни на что не стали годны, как разбитые клячи, повыдохлись, повытерлись, не то важничаем и ломаемся, не то бьем баклуши, да, чего доброго, горе вином запиваем, — вот это скорее сон, и сон самый безобразный. Жизнь прожита, и даром, нелепо, пошло прожита — вот что горько! Вот это бы стряхнуть как сон, вот от этого бы очнуться… И потом везде, всюду одно ужасное воспоминание, один призрак… А впрочем, прощайте.

Веретьев быстро удалился, но, поравнявшись с дверьми одной из главных кондитерских Невского проспекта, остановился, вошел в нее и, выпив у буфета рюмку померанцевой водки, отправился через биллиардную, всю туманную и тусклую от табачного дыма, в заднюю комнату. Там он нашел несколько знакомых, прежних товарищей: Петю Лазурина, Костю Ковровского, князя Сердюкова и еще двух господ, которых звали просто Васюком и Филатом. Все они были люди уже не молодые, хотя и холостые; у иных волосы повылезли, а у других седина пробилась, лица их покрылись морщинами, подбородки сдвоились, словом — господа эти все уже давно, как говорится, перешли период растения. Все они, однако, продолжали считать Веретьева че-

ловеком необыкновенным, предназначенным удивить вселенную, и он только потому и был умнее их, что сам очень хорошо сознавал свою совершенную и коренную бесполезность. И вне его кружка находились люди, которые думали о нем, что, не погуби он себя, из него чёрт знает что бы вышло… Эти люди ошибались: из Веретьевых никогда ничего не выходит.

Приятели Петра Алексеича встретили его с обычными приветствиями. Он сначала озадачил их своим мрачным видом и желчными речами, но вскоре успокоился, развеселился, и дело пошло своим обычным порядком.

А Владимир Сергеич, как только ушел от него Веретьев, нахмурился и выпрямил стан. Неожиданная выходка Петра Алексеича чрезвычайно озадачила, даже оскорбила его.

«Поглупели, вино пьем, усы красим… parlez pour vous, mon cher[11]», — сказал он наконец почти вслух и, фыркнув раза два от прилива невольного негодования, собрался было продолжать свою прогулку.

— Кто это с вами говорил? — раздался громкий и самоуверенный голос за его спиною.

---

[11] Сноски: 1.11
отнесите это на свой счет, мой дорогой (*франц.).*

Владимир Сергеич обернулся и увидел одного из своих хороших знакомых, некоего г. Помпонского. Этот г. Помпонский, человек высокого роста и толстый, занимал довольно важное место и ни разу с самой ранней юности не усомнился в себе.

— Так, чудак какой-то, — проговорил Владимир Сергеич, взявши г. Помпонского под руку.

— Помилуйте, Владимир Сергеич, разве позволительно порядочному человеку разговаривать на улице с индивидуем, у которого на голове фуражка? Это неприлично! Я удивляюсь! Где вы могли познакомиться с таким субъектом?

— В деревне.

— В деревне… С деревенскими соседями в городе не кланяются… ce n'est pas comme il faut[12]. Джентльмен должен всегда держать себя джентльменом, если хочет, чтобы…

— Вот моя жена, — поспешил перебить его Владимир Сергеич. — Пойдемте к ней.

И оба джентльмена направились к низенькой щегольской каретке, из окна которой выглядывало бледное, усталое и раздражительно-надменное личико женщины еще молодой, но уже отцвет-

---

[12] Сноски: 1.12
это неприлично (*франц.).*

шей.

Из-за нее виднелась другая дама, тоже словно рассерженная, ее мать. Владимир Сергеич отворил дверцы кареты, предложил жене руку. Помпонский пошел с его тещей, и обе четы отправились по Невскому в сопровождении невысокого черноволосого лакея в гороховых штиблетах и с большой кокардой на шляпе.

О повести «Затишье»

«Затишье» написано в январе — июне 1854 г. На, рукописи Тургенев указал, что повесть «начата в Петербурге, в понедельник, 25-го января 1854 г., кончена в Петергофской колонии в среду 23-го июня 1854 г.» и что она «писана с большими промежутками». 10(22) июля 1854 г. И. И. Панаев писал М. Н. Лонгинову: «Возле живет И. С. Тургенев, и мы часто с ним видимся. Третьего дня он прочел свою новую повесть „Затишье“, которая очень хороша» (см.: *Сб ПД, 1923,* с. 214).

Можно предположить, что замысел «Затишья» возник у Тургенева значительно раньше его осуществления, и повесть была хорошо им продумана, прежде чем писатель приступил к работе над ней. Этим обстоятельством и объясняется то, что «Затишье» не имеет предварительных черновых рукописей и писарских копий. Первоначальная черновая рукопись повести стала в то же время и наборной. Результаты изучения рукописи «Затишья» впервые были изложены в статье Л. В. Крестовой «И. С. Тургенев в работе над „Затишьем“» (см.: *Сб ГБЛ,* с. 164–170). Л. В. Крестова

считает, что рукопись «Затишья» «представляет первоначальную редакцию повести, дважды переработанную затем Тургеневым» (там же, с. 164). С этим утверждением нельзя согласиться, так как на автографе «Затишья» сохранились следы типографской краски и типографские пометы карандашом (ср.: Описание автографов И. С. Тургенева, сост. Р. П. Маториной, в кн.: *Сб ГБЛ*, с. 172–173). Исключение представляет только глава IV, написанная Тургеневым дополнительно для издания «Повестей и рассказов» в 1856 г.

Являясь одновременно и черновой и окончательной, наборной, рукопись «Затишья» позволяет проследить ход работы Тургенева от начальной ее стадии до первопечатного текста. Анализ многочисленных вставок на полях и исправлений в тексте, а также исключенных мест позволяет сделать следующие выводы{25}.

Значительной правке подвергались страницы рукописи, посвященные характеристике женских образов, в особенности — главной героини повести Марьи Павловны. Тургенев искал такие художественные детали при изображении внешности героини, которые отражали бы наиболее

{25} Комментарии: 2.25

Варианты наборной рукописи и чернового автографа (главы IV) напечатаны: *Т, ПСС и П, Сочинения,* т. VI, с. 412–457.

существенную черту ее внутреннего мира. Так, описывая первое появление Марьи Павловны, Тургенев отбросил несколько вариантов, пока выбрал нужные определения, подчеркивающие суровую естественно-стихийную неподвижность ее души, граничившую почти с «грубостью» и «тупостью» (наст, том, с. 390). В дальнейшем в соответствии с развитием сюжета, двигавшегося к трагической развязке, в портрете героини стали преобладать черты, объективно свидетельствующие о ее внутреннем смятении и тревоге (см.: наст, том, с. 442 и др.). В двух местах повести Тургенев намеревался сказать о том, что Марью Павловну любили не только дети, но и прислуга: «Не барышня она была, уверяли девушки, та же наша сестра». Приведенная фраза была вычеркнута в наборной рукописи (*Т, ПСС и П, Сочинения,* т. VI, с. 451).

Большое внимание писатель уделил и другому женскому образу повести, Надежде Алексеевне. Образ этот, в начало 1850-х годов новый для творчества Тургенева, впоследствии варьировался в произведениях писателя (ср. Ирину в «Дыме» и Полозову в «Вешних водах»).

Тургенев изменил возраст Надежды Алексеевны, сделав ее старше (24 года исправлено на

27), так как противоречивость ее облика, смесь положительных природных качеств с черствостью и эгоистичностью, могла быть характерна для женщины, уже успевшей пожить в обществе, развратившем ее. Правка страниц рукописи, на которых идет речь о Надежде Алексеевне, сводится главным образом к тому, чтобы сохранить меру как в положительных характеристиках, так и в намеках на проявления отрицательных черт этой героини.

Работа Тургенева над прочими персонажами повести характеризуется стремлением писателя придать каждому из героев индивидуальность, сделать его запоминающимся. Те места рукописи, где шла речь о Егоре Капитоныче, Гавриле Степаныче Акилине и его жене, Бодрякове, Попелене, неоднократно переделывались.

Пейзажи Тургенева, как отмечалось исследователями, отличаются эмоциональной взволнованностью и лиричностью, а также живописностью при точности и лаконичности описаний. Не удивительно поэтому, что в рукописи «Затишья» Тургенев тщательно отделывал каждую картину природы, настойчиво искал соответствия между красками, звуками и линиями, добиваясь наиболее точного художественного образа. Так,

значительной правке подвергались описания сада в Ипатовке, ночи, грозы. Тургенев впоследствии вспоминал: «…в „Затишье“ в описании сцены свидания мне никак не давалось описание утра. Только сижу я раз в своей комнате за книгой — вдруг точно что-то толкнуло меня — прошептало мне: „*Невинная торжественность утра*“. Я вскочил даже: „Вот они, вот они, настоящие слова“» (*Т сб* (*Пиксанов),* с. 78–79).

Из правки, систематически проведенной Тургеневым по всей рукописи, необходимо отметить замену французских выражений русскими. В ходе работы над повестью Тургенев изменил фамилии некоторых персонажей. Так, первоначально в рукописи Веретьев носил фамилию Ивин, и Надежда Алексеевна соответственно именовалась Ивиной; вместо Бодрякова (поэта) был назван Кабурдин. Фамилия Помпонский также была найдена Тургеневым не сразу. Первоначально он назвал этого высокопоставленного чиновника Аристопетовым, но потом, очевидно в связи с тем, что фамилия Аристопетов была очень близка по звучанию к фамилии прототипа этого образа Арапетова (см. ниже), Тургенев отбросил ее и испробовал еще два варианта: Олимпийцев и Помповатый, пока не остановился окончательно

на фамилии Помпонский. Стихотворение Пушкина «Анчар» первоначально было названо «Дерево смерти», а цитаты из него менялись дважды.

Следует еще отметить, что, работая над «Затишьем», Тургенев в окончательном тексте определеннее подчеркнул украинское происхождение Марьи Павловны и ее любовь к украинским песням. В связи с этим М. Драгоманов писал: «...Тургенев завел со мною разговор и об Украине и выражал сожаление, что ему не удалось ближе познакомиться с этой страной и населением ее, редкие встречи с которым возбудили в нем горячие симпатии; памятником этих симпатий остаются в его романах: Маша в повести „Затишье“ и Михалевич в „Дворянском гнезде“» (Драгоманов М. Воспоминания о знакомстве с И. С. Тургеневым. — В кн.: Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к Герцену. Женева, 1892, с. 223; см. также: Голованова Т. П. Тургенев в кругу петербургских украинцев. — *Т сб,* вып. 5, с. 363–374).

Следующим этапом работы Тургенева над текстом «Затишья», после опубликования повести в 1854 г. в «Современнике», является переработка для издания «Повестей и рассказов» (1856 г.): в этот момент Тургенев вставил в первопечатный текст главу IV (сцена утреннего свидания Маши с

Веретьевым; см. с. 416–422).

Появление «Затишья» вызвало критические отклики в периодической печати и ряд высказываний, письменных и устных, в литературных кругах.

Разбору новой повести Тургенева были посвящены статьи и рецензии в «СПб. ведомостях» (1854, № 218, 10 октября), в «Отечественных записках» (1854, № 11, отд. IV, с. 30–33), в «Москвитянине» (1854, № 21, ноябрь, кн. I, отд. IV, с. 33–42), в «Современнике» (1855, № 1, отд. III, с. 1–26) и в «Библиотеке для чтения» (1855, № 1, Журналистика, с. 38–44).

Высоко оценивая «Затишье» в целом, критики, однако, указали на незавершенность образов главных героев повести и на ее композиционную рыхлость. Критик «Современника» П. В. Анненков писал в статье «О мысли в произведениях изящной словесности», имея в виду «Затишье», что Тургенев «еще не вполне дописывает свои лица и образы, отчего им и недостает совершенной очевидности, и слишком много в них предоставлено отгадке читателя» (*Совр,* 1855, № 1, отд. III, с. 20). Критик «молодой редакции» «Москвитянина» Б. Н. Алмазов упрекал Тургенева в том, что все лица в его повести «представляются случайно

сошедшимися или насильственно сведенными автором: они не связаны общей идеей произведения» (*Москв*, 1854, № 21, кн. 1, отд. IV, с. 35).

Аналогичные упреки по поводу «Затишья» были сделаны Тургеневу и его знакомыми. Тургенев писал по этому поводу 1(13) ноября 1854 г. И. Ф. Миницкому: «Замечание Ваше насчет „Затишья“ совершенно справедливо — и совпадает с тем, что мне сказали Некрасов, Анненков и др. Но, к несчастью, я не умею переделывать. Я по крайней мере рад, что джентльмен мой (Астахов) хотя несколько удался».

В отличие от литературных друзей Тургенева Л. Н. Толстой оценил «Затишье» как читатель весьма высоко. Об этом рассказал в своем дневнике в записи от 14-го июля 1896 г. С. И. Танеев. «После ужина, во время шахматной игры, кончили чтение повести Тургенева „Первая любовь“, — вспоминал композитор. — Когда кто-то упомянул о „Затишье“, Л<ев> Н<иколаевич> сказал, что с этой повестью у него соединено самое приятное воспоминание. В Севастополь ему привез ее знакомый ему доктор <…>; тогда Л<ев> Н<иколаевич> не думал о литературе и повестях, и он получил большое удовольствие от чтения». (Из «Дневников» С. И. Танеева. (Дневник за 1896-й год). — В

кн.: История русской музыки в исследованиях и материалах. М., 1924. Т. 1, с. 198).

Очевидно, под влиянием критических замечаний, высказанных по поводу «Затишья». Тургенев решил внести в повесть, некоторые изменения и дополнить ее. 9 (21) августа 1855 г. он писал из Спасского Е. Я. Колбасину: «Пришлите мне, пожалуйста, тот том „Современника“, где „Затишье“. Мне хочется на Досуге приделать сцену между Веретьевым и Машей». К маю 1856 г. основные исправления в тексте «Затишья» были сделаны, но Тургенев просил Д. Я. Колбасина прислать ему прибавленные к повести странички, чтобы внести в них дополнительную правку. Заканчивая подготовку текстов для издания в 1856 г. «Повестей и рассказов», Тургенев 21 мая (2 июня) 1856 г. писал Д. Я. Колбасину: «…Вас прошу сделать мне одолжение и прислать мне, переписав их, — прибавленные странички в „Затишье“ и „Пасынкове“. Мне кажется, что и там можно кое-что доделать, и притом это будет служить ручательством, что Вы их разобрали». В данном случае Тургенев имеет в виду главу IV повести, где изображена сцена свидания Веретьева и Маши, глубже раскрывающая характеры главных героев и их личные взаимоотношения. Автограф

вновь написанной IV главы «Затишья» Тургенев присоединил к основной рукописи повести (см.: *ГБЛ*, ф. 306, И. С. Тургенев, картон 1, ед. хр. 2, л. 52–55, авторская пагинация 1–7), а в издании «Повестей и рассказов» 1856 г. эта глава набиралась, очевидно, по копии, сделанной Д. Я. Колбасиным и выправленной Тургеневым. Текст «Затишья» в издании «Повестей и рассказов» 1856 г. имеет также и другие, менее значительные отличия от текста «Современника»{26}.

Существенные дополнения в «Затишье» были сделаны Тургеневым и в третьем издании в 1861 г. Здесь Тургенев дополнил сцену между Веретьевым и Астаховым накануне предполагавшейся дуэли, введя реплики Веретьева, которые подчеркивали его нравственную опустошенность. Особенно важно отметить появившееся здесь впервые замечание Веретьева, касающееся Маши и заранее предвещающее неизбежность трагической развязки ее судьбы. Имея в виду сестру, Веретьев говорит, что ради нее он готов всех других выдать; в издании же 1861 г. добавлено: «…даже тех, которые были бы готовы всем пожертвовать для меня» (наст, том, с. 437).

{26} Комментарии: 2.26

Варианты прижизненных изданий напечатаны: *Т, ПСС и П, Сочинения,* т. VI. с. 457–460.

Все исправления и дополнения, внесенные Тургеневым в текст «Затишья» в издании 1861 г., были им уже ранее осуществлены во французском переводе повести («L'Antchar»), вошедшем в сборник 1858 г. «Scènes de la vie Russe». Кроме того, текст «Затишья» в указанном французском переводе имеет некоторые отличия, никогда не вводившиеся Тургеневым в русские издания повести.

В последующих прижизненных изданиях сочинений Тургенева «Затишье» печаталось с очень незначительными стилистическими поправками.

В 1856 г., после выхода в свет «Повестей и рассказов» Тургенева, появился ряд рецензий на издание в целом, в которых отводилось место и «Затишью». Главное внимание критиков привлекли мужские образы повести — Веретьев и Астахов. Особый интерес к этим героям обусловливался начавшейся в это время полемикой о «лишних людях».

Первым по поводу вновь изданных повестей высказался критик «Отечественных записок» С. С. Дудышкин. В статье «Повести и рассказы И. С. Тургенева», говоря о Веретьеве, Дудышкин в общем повторил свои суждения о нем как о

«лишнем человеке», высказанные им на страницах «Отечественных записок» еще в 1854 г. Там он писал: Веретьев «был бы назван непременно гениальною натурою в прежнее время и мог бы очень хорошо рисоваться в повести… Но что будете делать: другие времена — другие нравы. <…> мы не верим в способности того человека, который ни в чем не обнаружился, хотя и щедро был наделен природою» (*Отеч Зап*, 1854, № 11, отд. IV, с. 32). В данном случае критик присоединился к мнению Тургенева, который сказал в «Затишье», что «из Веретьевых никогда ничего не выходит» (с. 450).

В статье 1857 г. Дудышкин не только еще раз подчеркнул, что Веретьев «талантливая русская натура, на многое годная и никуда не годная», но и выдвинул свою положительную программу поведения современного общественного деятеля. Он заявил, что современный герой должен подчиняться не страсти, а «долгу, как единственному руководительному началу». Он писал в той же статье: «…жизнь не шутка и не забава, а тяжелый труд <…> мы призваны исполнять наш долг, а не любимые мечтания, как бы возвышенны они ни были. Действительно, как только вы прикрепите к почве всех тех людей, которые прежде

при первом удобном случае уезжали куда-то, зачем-то, для них должна наступить другая пора: пора деятельности, труда» (*Отеч Зап,* 1857, № 1, отд. II, с. 25).

Таким образом, С. С. Дудышкин требовал, чтобы человек «гармонировал с обстановкою»; он осуждал «лишних людей» и в том числе Веретьева за неспособность к практической деятельности.

А. В. Дружинин в статье «Повести и рассказы И. С. Тургенева» (*Б-ка Чт,* 1857, № 2 и 5) охарактеризовал Веретьева почти так же, как и Дудышкин. Он писал, что Веретьевы «любят прожигать жизнь, думают, что эта любовь избавляет их от всякой ответственности за свои поступки» (там же, № 5, отд. V, с. 19).

Точка зрения Дудышкина на «лишних людей» и в частности, на Веретьева была подвергнута резкой критике со стороны Чернышевского, который, соглашаясь с тем, что от современного героя нужно требовать прежде всего «практической деятельности», иначе понимал характер этой деятельности (см.: Егоров Б. Ф. Очерки по истории русской литературной критики. Л., 1973, с. 112). Он писал в № 2 «Современника» за 1857 г.: «Г-н Дудышкин увлекся теориею о необходимости „примирять идеал с его обстановкою“ и

мыслью, впрочем прекрасною, о необходимости трудиться». «Что такое значит: „человек должен гармонировать с обстановкою“?» — спрашивал Чернышевский и тут же пояснял точку зрения Дудышкина: «Вот что, если у вас есть тетка или бабушка, держите себя так, чтобы она была вами довольна; если у вас есть начальник, держите себя так, чтобы он отзывался о вас: „славный человек Н. Н.“ <…> Что такое значит: „трудиться“? — трудиться значит быть расторопным чиновником, распорядительным помещиком, значит устраивать свои дела так, чтобы вам было тепло и спокойно, не нарушая, однако же, при этом устроении своих делишек, условия, которые соблюдает всякий порядочный и приличный человек» (*Чернышевский*, т. 4, с. 700).

Д. И. Писарев в статье «Писемский, Тургенев и Гончаров» (1861), не защищая, как и Чернышевский, бездеятельности Веретьева, дал социальное объяснение бесполезности его существования. Он писал, что люди, подобные Веретьеву, «это люди с кипучими силами, с огневым темпераментом, с огромными страстями, с резкими недостатками, но с яркими талантами и с могучими стремлениями. <…> Кабы этим силам да другую сферу — было бы совсем другое дело. Тип широкой

натуры, разбрасывающейся в простом народе на сивуху, а в среднем кругу — на шампанское, мог бы переродиться в тип талантливого, живого, веселого работника <…> если жизнь одних вколачивает в могилу, других вгоняет в кабак, третьих превращает в негодяев, то согласитесь, что в этом не виноваты те личности, которые не выносят атмосферы этой жизни» (*Писарев,* т. 1, с. 228–229).

В этой же статье Писарев упрекал Тургенева в «невеликодушном» отношении к Веретьеву, в том, что он смотрит на Веретьева «слишком легко и слишком презрительно». Он писал, что «жертвы нашего собственного тупоумия, нашей собственной инертности имеют право на наше сочувствие или по крайней мере на наше сострадание» (там же).

Критик «Русского слова» Ап. Григорьев считал, что, создавая образ Веретьева, Тургенев стремился «развенчать в этом типе сторону безумной страсти или увлечений и безграничной любви к жизни, соединенных с какою-то отважною беспечностью и верою в минуту» (*Григорьев,* т. 1, с. 321). Однако, по мнению Ап. Григорьева, Веретьев, вопреки замыслу автора, вызывает у читателей симпатию. Его «бесплодное существование точно являлось бесплодным, — писал

Ап. Григорьев, — но созданное поэтом лицо, в минуты страстных своих увлечений, увлекало невольно, оставалось обаятельным, не теряло своего колорита» (там же).

Люди типа Веретьева, очевидно, очень часто встречались в русской помещичьей среде. В одном из своих писем к Тургеневу Е. А. Ладыженская — писательница и переводчица, выступавшая в печати под псевдонимом С. Вахновская, — писала: «…я знаю одного человека, деревенского соседа, смесь *Веретьева* с *Гамлетом* Щигровского уезда, но в нем есть еще своя собственная отличительная черта, которая немного сдается на разочарованность байроновского героя; он аффектирует постоянно всевозможные дурные наклонности, как-то: пренебрежение к религии, цинизм, сухость сердца, неуважение к матери. Он говорит, что в женщинах признает *одно тело* и что он не способен на чувство. А между тем это самый впечатлительный и, можно даже сказать, добрый человек, но люди н мужики про него говорят: „Что в таком барине, не греет и не студит!“» (*Т сб*, вып. 2, с. 363–364).

О распространенности в русской действительности героев-неудачников с богатой, художественно одаренной «натурой» свидетельствует

также рассказ Тургенева «Петр Петрович Каратаев» (1847), вошедший в «Записки охотника». Трагическая судьба Каратаева и в особенности сцена его последнего свидания с рассказчиком перекликаются с заключительными страницами «Затишья»: и Каратаев и Веретьев становятся полунищими завсегдатаями трактиров.

В оценке другого мужского образа «Затишья» — Владимира Сергеевича Астахова — критики самых различных общественно-политических лагерей были единодушны. П. В. Анненков писал, что «Астахов весь состоит из одних поползновений к чему-либо и называет себя практическим человеком, прикрывая титлом этим неспособность к пониманию благородного в жизни и мысли» (*Совр,* 1855, № 1, отд. III, с. 15). С Анненковым был согласен и А. В. Дружинин, который писал, что в Астахове отразились «особенности целого класса петербургских юношей, неспособных на жизнь, вследствие самой их жизни, принявшей ложно-практическое направление» (*Б-ка Чт.* 1857, № 5, отд. V, с. 16).

С еще большей резкостью и определенностью охарактеризовал Астахова Чернышевский, назвав его «бездушным пошлецом», «который свою низость и бесчувственность прикрывает евро-

пейскими фразами и приличными манерами» (*Чернышевский,* т. 4, с. 699).

В повести «Затишье» Тургенев широко воспользовался теми впечатлениями, которые он накопил, живя в провинции и общаясь с обитателями дворянских усадеб.

В воспоминаниях о Тургеневе Е. М. Гаршин следующим образом передавал слова писателя, сказанные им по этом поводу:

«И в конце концов мастерство художника в этом и состоит, чтобы суметь пронаблюдать явление в жизни и затем уже это действительное явление представить в художественных образах. А выдумывать ничего нельзя, заключил он свою речь.

И ту же самую мысль он стал развивать почти в таких же выражениях в другой раз, когда пришлось цитировать из „Затишья“ известную фразу о Матрене Марковне, которая „насчет манер очень строга“, причем „чуть что, а уже бирюлевским барышням всё известно“» (Гаршин Е. М. Воспоминания об И. С. Тургеневе. — *ИВ,* 1883, № 11, с. 384).

Имеется свидетельство современников, что в образе Помпонского Тургенев изобразил И. П. Арапетова, видного чиновника, окончившего

Московский университет одновременно с Герценом и Огаревым. Так, Б. Н. Чичерин в своих воспоминаниях пишет, что Т. Н. Грановский, прочитав повесть «Затишье», сказал: Тургенев «в конце, в виде какого-то господина Помпонского так очертил Арапетова, что нельзя не узнать» (Воспоминания Б. Н. Чичерина. Москва сороковых годов. М., 1929, с. 137 и 135).

Героиня повести Марья Павловна также имела реальный прототип. Об этом пишет Н. А. Островская, которой Тургенев рассказывал, что в «„Затишье“, в лице Маши, представлена им девушка, малороссиянка, которую он знавал в молодости и в которую был немножко даже влюблен.

— И она действительно стихов не любила, — говорил Тургенев. — Я в самом дело однажды прочел ей „Анчара“ и — он произвел впечатление.

— Сюжет, конечно, сочинен? — спросила я. — Она, надеюсь, не утопилась?

— Конечно, нет, — отвечал Иван Сергеевич, — хотя она и была способна на это» (*Т сб* (*Пиксанов),* с. 91).

Образ Марьи Павловны привлек к себе внимание критики, которая увидела в нем раскрытие

новых для литературы черт характера простой русской женщины. Рецензент «СПб. ведомостей» писал, что Марья Павловна — «это девушка энергическая и благородная, с натурой истинно поэтической». При этом, по мнению рецензента, Тургенев «не польстил этой избранной натуре, не украсил ее совершенствами, чуждыми воспитанницам „Затишья“» (*СПб Вед,* 1854, № 218, 1 октября).

М. В. Авдеев, автор нескольких статей, посвященных анализу женских образов в русской литературе, писал в 1874 г., что «во всей русской литературе мы не встречаем такой цельной, крупной, такой строгой, хоть несколько грубой женщины», как Марья Павловна (см.: Авдеев М. В. Наше общество в героях и героинях литературы. СПб., 1874, с. 215). Авдеев объяснил трагическую гибель Маши тем обстоятельством, что до самого последнего момента жизни ее самосознание не было разбужено. По его мнению, крик о помощи, вырвавшийся из груди Марьи Павловны, является признаком «слишком поздно пробудившегося сознания», которое подсказало ей, что «человек, из-за которого она гибнет, не стоит ее чувства, что самое чувство изменяется, что жизнь хороша, и есть на земле нечто кроме любви, столь же

великое и глубокое» (там же, с. 224).

Единственный критик, осудивший образ Марьи Павловны, был критик «Современника» А. Н. Острогорский, который в статье, «По поводу женских характеров в некоторых повестях» писал о «крайней бесхарактерности и бесцветности Марьи Павловны» (*Совр,* 1862, № 5, Современное обозрение, с. 20). Острогорский считал, что трагическая развязка отношений Веретьева с Марьей Павловной объясняется тем, что Марья Павловна требовала от Веретьева жертв, «не возбудив к себе уважения» (там же). «Уважение посторонних, — объяснял критик, — возможно только для лиц, уважающих себя, пекущихся о своем нравственном развитии, о выработке характера и убеждений и действующих сообразно с ними до тех пор, пока эти убеждения не будут поколеблены» (там же, с. 14).

Начав свою литературную деятельность как писатель «натуральной школы», Тургенев и в повести «Затишье» продолжал борьбу с ложным романтизмом, воспитывая у читателей способность видеть истинно прекрасное в реальной действительности, окружающей их. Именно поэтому повесть Тургенева вызвала сопротивление у поклонников и поклонниц «возвышенной»

литературы. Е. А. Ладыженская писала по этому поводу Тургеневу: «Хотите выслушать суждение одной провинциальной барыни, сентиментальной вдовы, о „Затишье“? — я ему смеялась от души: Читали ли вы „Затишье“? — спрашиваю я. — Как же, но не имела терпения докончить, я привыкла читать повести с *возвышенным слогом;* вот Марлинского „Фрегат надежды“ — это другое дело. А тут никакого романтизма нет; героиня с красными руками… и какие выражения: „осклабился“, — просто тривиально!» (*Т сб,* вып. 2, с. 361).

Несмотря на то, что «Затишье» еще страдает некоторой рыхлостью композиции, которую отмечали и критики и литературные друзья Тургенева, несмотря на то, что в этой повести еще не выработалась единая манера художественного изображения и первая часть повести напоминает зарисовки с натуры, а вторая зачастую сводится к беглому рассказу о дальнейших событиях, — несмотря на всё это повесть «Затишье» — заметный шаг на пути освоения Тургеневым «новой манеры». Это отмечалось К. К. Истоминым (см.: *Истомин,* с. 109–111); эту же мысль развивал и Б. М. Эйхенбаум, который считал «Затишье» «некоторым итогом по отношению к ряду рас-

сказов и повестей, написанных раньше» (см.: *Т, Сочинения,* т. VII, с. 357).

Многоплановая композиция повести, позволившая проследить судьбы героев из разных слоев русского общества, переплетение лирико-психологической и иронической манеры повествования — всё это создавало художественные предпосылки для появления тургеневских романов.